

Николай Климонтович

ЭЛЬДОРАДО

дюжина историй

Москва
Издательство «БПП»
2010

В это время в тюрьме (1992)
Немного лазури (1996)
Клуб «Лулу» (1998)
Флоранс (1999)
Смерть в Переделкино (2005)
Время сбора абрикосовых косточек (2007)
Процедуры до и после (2008)
Сосновый сад (2008)
ЗУБНАЯ ПАСТА (2008)
ПОХОРОНЫ ДАМЫ (2008)
ИСТОРИЯ К. (2008)
Эльдорадо (2008)

В ЭТО ВРЕМЯ В ТЮРЬМЕ

Нас было двое в вязаных шапочках. Позже я заметил еще одного, правда, в берете, из другой партии, так что получалось — трое на несколько сот декабристов, каждое утро сбивавшихся на плацу. Преобладали ушанки, хоть стоял только октябрь. Но попадались фуражки, кепки, даже одна велюровая шляпа с подрезанными полями, какие нахлобучивают, отправляясь в парилку, постоянные посетители бань.

Арестанты были распределены по пяти камерам, в каждой человек под шестьдесят. Декабристами мы назывались по месяцу издания соответствующего Указа, предусматривающего ускоренное, без формального следствия и с упрощенным рассмотрением в суде, административное заключение на десять-пятнадцать суток — за хулиганку. Контингент барака составляли мужики, как сказали бы в настоящей тюрьме, то есть люди, далекие от собственно криминального мира, преимущественно работяги, которых пристроили сюда жены или коммунальные соседи за буйство в пьяном виде. Реже попадались взятые за дебош в общественных местах, причем последние радовались своей участи: административный приговор по тогдашним законам исключал доследование, а значит — возможный пересмотр дела уже по уголовной статье. Совсем редко сюда залетали бродяги, этих, очень тихих и осторожных в те годы, если и замечали, то как правило высылали из Москвы. Были здесь люди и с лагерным опытом, но давно завязавшие. Со мной в столовой колено к колену сидел старик-вор, вида безобиднейшего, Божий человек, он все

предавался ностальгии, сравнивая местную неудобоваримую пищу с лагерной: там и масло давали...

Безошибочно распознав друг друга по этим самым шапочкам и беретам, мы, интеллигенты, старались держаться вместе, и уже на третий день общих работ нам дана была собирательная кличка студенты, каковыми двое из нас в самом деле были до ареста. Меня загребли при попытке ночью пробраться в аспирантское общежитие к подружке, моего приятеля по камере, студента-философа, — за декламацию цитат из Пира милиционерам, остановившим его, когда он поздним вечером срезал путь к своему подъезду через автомобильную стоянку. Не говоря уж о том, что милиционерам наверняка не пришлась по сердцу теория андрогенов, если товарищ успел ее изложить, и в моем, и в его случаях, учитывая, что оба были в сильном подпитии, у нас и с ними никак не мог бы состояться мирный платонический диалог. Третий, с которым мы сошлись в столовой, куда здешних обитателей запускали разом, был постарше, еврей-биолог, кандидат наук: они шли с коллегой из гостей, того не пускали в метро, он вступился за приятеля, которого отправили на ночь в вытрезвитель, тогда как биолога, поскольку он был трезв по причине обострения язвы, к нам, в пансионат Березки, как называлось это заведение на здешнем языке. Возможно, в названии этом сквозил арестантский сарказм простолюдинов, которым не светило когда-либо попасть в настоящий номенклатурный пансионат, каковых было немало в тогдашнем Подмоскovie, и почти все они березками и назывались.

Наша зона действительно располагалась за городом в сквозной белесой роще и со стороны смотрелась, как настоящая. Правда, не было вышек, собак и конвоя с автоматами, но этого и не требовалось. На работу в город нас возили не в автозаках, но в обычных автобусах без решеток, а на месте вообще никто не охранял. При желании можно было податься в бега, и были такие ходоки, кто сидел в Березках и тридцать, и сорок дней: сбежав и выпив на радостях с товарищами, к ночи они непременно шли домой — выяснять казавшиеся им не до конца уясненными отношения, где их и поджидал участковый; в таких случаях количество арестантских суток автоматически удваивалось. Глядя на этих повторников, трудно было заключить, что их сильно гнетет наказание. Кажется, однажды оступившись и распрощавшись с тринадцатой зарплатой, профсоюзной путевкой в пионерлагерь для детей и очередью на улучшение, эти мужики, раз вкусив радость освобождения от бремени повседневности, относились к заключению, как к добровольному и долгожданному постригу. К тому же, не исключено, что в здешней жизни они находили и многие радости, которыми не баловала их жизнь в миру, где нужно было заботиться о себе, о пропитании и о домашних, и тяжело работать.

Но многие атрибуты были на месте: КП, шмон на плацу по возвращении с работ, намордник на двери камеры, единственное тусклое окошко под потолком, редкие прогулки дребезжащего света осенним воскресным днем — в субботу, отчего-то, не выводили — под холодным дождиком, двухэтажные нары, наконец, на котором всем не хватало места, так что новички

первым делом попадали в разряд вертолетчиков, то есть, в ожидании очереди спали на дощатых лежаках-вертолетах, которые сами приносили по вечерам из подсобки и клали на каменный ледяной пол. Но главное — клацающие запоры, потому что при всем отличии в сторону либеральную от классических мест заключения, это было почти потешное, но все же узилище.

В тот день с раннего утра по камере прошел слух, будто на сей раз нас повезут не на свалку — разбирать мусор, но на табачную фабрику, что было, конечно, невероятным везением и неожиданным приключением, и зеки обрадовались, как если бы речь шла о посещении парка культуры и отдыха имени Горького. Среди шести десятков человек, каждое утро рвавшихся на любую работу как на маевку, у нас в камере был и свой отказчик: он не хотел выходить из барака, сидел целый день на нарах и читал неведомо откуда здесь взявшуюся книжку «Горячий снег» без обложки, так что названия ее он не знал. Наказание за отказ было простым: вдвое срезали и без того жидкую пайку. Это был причудливый мужик — с обостренным чувством собственного достоинства и с незыблемыми представлениями о справедливом порядке вещей. К тому ж — везунчик, потому что попал сюда, а не в настоящую тюрьму: он сломал во время семейной ссоры челюсть своей сожительнице, вспоминал о которой добродушно, называл Валюхой, и даже показывал желающим фотку нестарой мордатой деревенской бабы с толстой белой шеей и городским перманентом.

В камере ему присвоили кличку Слесарь, что поначалу показалось мне несколько странным: здесь большая часть мужиков имела рабочие специальности, но, возможно, они были в основном токарями или фрезеровщиками, а слесарь, решил я, стоит ниже в табели о рабочих рангах. Строго говоря, по специальности он был сантехник ЖЭКа, на чем с гордостью настаивал. Слесарем, как я вскоре понял, его звали не с тем, чтобы обидеть, занижая квалификацию, а, напротив, уважительно, имея в виду, что он — специалист редкого профиля, что-то вроде хирурга, раз смог столь умело разнести челюсть своей бабе. Сильно повышало его авторитет и то, что был он здоровенный краснорожий мужичина, на оправку — параши в камере не было — ходил без шапки и в одной рубашке, и от него натурально валил пар. Сожительница же его, как выяснилось, была техник-смотритель, то есть в глазах камеры — кем-то вроде охранника и вертухая, так что в подвиге Слесаря чудилось им, всякую власть боявшимся и презирающим, что-то былинное, раз он ее сперва драл, а потом поучил как надо. Короче, в нем были налицо черты богатырские, и даже менты это чувствовали и признавали. Так что когда Слесарь после оправки и завтрака вышел, клубясь паром, вместе со всеми на плац на поверку, стало ясно, что день предстоит выдающийся.

И нас действительно привезли именно на табачную фабрику, о чем свидетельствовала витиеватого шрифта, крутой дугой над железными воротами торчащая вывеска: Дукат. Наши равнодушные конвоиры всю дорогу в автобусе глухо молчали о пункте назначения, соблюдая, видимо, инструкцию, и в этом непременно офи-

циальном неведении арестанта, лишь догадывающегося о грядущей доле, есть для русского фаталиста особая прелесть. Действует негласный договор: пастыри держат в секрете все, касающееся будущего их стада, но ведомые опережают своих поводырей, а неверные слухи, клубящиеся в их среде, а иногда и самые дикие суеверные предчувствия, с какими они вглядываются в омут своей судьбы, оказываются на поверку весьма точным прогнозом. И для большинства обитателей зоны, давно и глубоко проникшегося высокой метафизикой внешней несвободы, в этой бесконечной игре неведения, в которое их намеренно погружают, и напряженного прозрения есть свой сладкий и жуткий азарт...

Урок, который задали нашей бригаде, куда мы протырились все трое, и составленной самыми немощными, был даже юмористичным: нам предстояло оттащить от цеха готовой продукции вороха брака и сваливать их в сторонке, подальше от подъездных путей и склада, туда, где, наверное, их должны были потом сжигать. Надо сказать, что другие группы получили куда менее приятные задания, так что мы оказались в положении избранных. Дело в том, что этот самый брак или некондиция, как здесь говорили, были самыми настоящими, сухими и пахучими, фильтрованными сигаретами, которые нельзя было расфасовать по пачкам из-за того, что одни были не по длине обрезаны, к другим приклеился двойной фильтр. То есть дело обстояло ровно так, как если бы пьяниц оставили наедине с бочкой пива, дав инструкцию вылить его куда-нибудь подальше. По-видимому, наша интеллигентская принад-

лежность ввела в соблазн конвоиров, понадеявшихся на наши то ли несообразительность, то ли совесть.

Надо ли говорить, что работа у нас спорилась. Через полтора часа весь более или менее приличный брак был растащен нами и надежно припрятан. Остальной мусор мы свалили в укромный закуток, разложили костер и с наслаждением закурили, усевшись в кружок и чувствуя особую осеннюю легкость, сдобренную изысканностью из мира и временной безопасностью. Другие члены бригады разбрелись кто куда, но мы втроем держались вместе. Быть может, в каких-то навыках мы, в шапочках и берете, и были менее годны к выживанию на этой земле, чем наши товарищи по заточению, но и в нас сидела способность укрыться и закопаться, споро примениться к неудобствам, обустроиться малым и — главное — вдыхать полной грудью счастье каждой затяжки, каждого глотка подмороженного уже свежего воздуха, млеть под всяким теплым солнечным лучом. Было чувство парения и истомы, как при начале не смертельной болезни. Тут-то к нам и подсел Слесарь, неизвестно как на нас набредший:

— Закурим, студенты?

И он достал из кармана штанов поллитра, из другого — черный хлеб, из-за пазухи банку от сгущенного молока с обрезанными и оббитыми краями. Мы даже не удивились тому, откуда взялась у него водка, столь естествен был его жест, вытащили значенные кучи рассыпных сигарет. Биолог не пил, Слесарь не настаивал, банка пошла по кругу, мы трое по очереди залпом выпили по дозе, и в бутылке осталась ровно половина. Зажевали хлебом. Слесарь, смачно закурив, сказал:

— Во всем есть своя наука.

Никто не спорил.

Он заговорил о стояках, хомутах, давлении, вентилях и манометрах, а мы кивали, и он с удовольствием видел, что ни один из нас ни звука не понимает. Молчал и мой приятель-философ, хоть и был скор на язык. — А помните, в Москву к Никите Фидель Кастро приезжал? — спросил Слесарь.

Мы смутно помнили, хоть и не улавливали связи между историческим визитом и сантехническим ремеслом, а биолог, как оказалось, даже встречал героя цветами на Ленинском проспекте — в качестве отличника в составе делегации своего седьмого класса.

— Так вот, был у нас инженер в домоуправлении. Въедливый мужик но справедливый. И надо ж было такому случиться, что в одном доме по Мичуринскому, в панельной белой башне, как раз тогда в подвале прорвало горячую трубу. Ну, натурально, весь подвал залило под завязку, а тут Кастро! Пар валит из-под дома, хоть и начало лета было на дворе, даже жарковато. Надо бы вентиль перекрыть, но только он там, глубоко, в кипятке. не достанешь.

— А почему Кастро? — спросил Биолог на правах старшего и наиболее бывалого из слушателей.

— Кастро как раз тогда приезжал, — пояснил Слесарь, — как раз на другой день.

— На Мичуринский? — спросил биолог.

— Ну да, в Москву, Никита его пригласил. Так вот, слышь, инженер этот ко мне: мол, так и так, Юрик, исторический визит, а тут, бля, пар валит из-под башни, а вентиль, бля, кипятком затопило. В другое время, ко-

нечно, он отключил бы все четыре дома, а сейчас как отключишь, жильцы будут недовольны без горячей воды, хай поднимут, такое вот дело...

Слесарь сделал паузу и будто закручинился. Никто вопросов больше не задавал, столь поразила нас эта эпическая картина чрезвычайной сантехнической ситуации на исторически-политическом фоне: лысый Никита, бородатый Фидель, американы — но пасаран, черно-белая кинохроника, пионерки с цветами и панельная башня, из-под которой валит клубами горячий пар; и где-то там, вдалеке, одинокий в океане, далекий и родной, революционный остров.

— Нырять надо, — продолжал рассказчик, — с разводным ключом, иначе никак. Как же ты нырнешь, мне кореш говорит, тоже по сантехнике, ты там сварисься на хуй. Это верно, инженер говорит, а если помпой. А куда сливать, говорю, подумал, и потом она ж прет, бя, и помпой ее хуй возьмешь. Инженер, конечно, соглашается, а в подвале кипятка уж по горло, на треть до потолка не достает. Вот, говорю, идея, тяни сюда, Сява, шланг с холодной водой от другого подвала и термометр. А чего тебе термометр, кореш говорит. Надо, говорю, а инженер не встречает, он меня знает, ждет, значит, чего будет. Ну, стал я холодную воду в тот подвал закачивать. Снизу горячая прет, а я ее холодной разбавляю. Вижу, как будто пару меньше стало. Сую термометр, ну, что-то возле семидесяти. Я корешу велю холодку подбавить, а сам раздеваюсь до трусов, беру разводной. Подождал, когда ниже шестидесяти стало, как в бане, и бух туда. Конечно, ничего не видно, муть, по поверхности пустая посуда с закуской плавает, крысы

варенные, но я-то нашу систему, как свою бабу, наощупь знаю. Правда, с первого раза не получилось. Но со второго, бля, зацепил ключом, вынырнул, опять туда, как, бля, водолаз, подтянул, нажал, опять вверх. Воздуха глотнул — пошел вниз, нажал, опять всплыл. И так раз с десяток, чуть не захлебнулся, дряни наглотался, иди , говорю инженеру, за пузырем для дезинфекции... Так, значит, и перекрыл,— закончил Слесарь и взялся за недопитую бутылку.

Мы молчали, пока он наливал. Но решительно отказались пить первыми из уважения к подвигу. — Ну, будем,— сказал Слесарь и допил свое. Закусил черной коркой, потом растопырил лапу и сграбастал ворох сигарет, лежавших перед нами на перевернутом ящике. Сунул за пазуху.

— И что? — спросил биолог.

— Пошел, куда денется.

— Нет, что Кастро-то? — продолжал наседавать тот, видно потому, что ведь это он тогда встречал кубинского вождя, и до сих пор чувствовал известную ответственность за исход визита.

— А что Кастро. Ему-то хуй ли: выпил свое в Кремле и обратно на Кубу, — объяснил Слесарь. — Давай, добивай, сейчас обратно в пансионат погоним...

Мы втроем разобрали сигареты с тем, чтобы раздать каждому из нашей камеры. Пришлось десятка по три на брата, но все понимали, что главная хитрость — не отовариться, а пронести в зону, потому что наверняка нас там встретят полноценным шмоном. Помню, немолодой мужик, похожий на потомственного мастера-вого, с пышными ржаными усами и добродушной

улыбкой, — таких рисовали тогда на плакатах, а прежде выкладывали мозаикой, — все приговаривал: да что б я этих сук не обманул... И, сняв штаны, повязал носовой платок так, что между ног под яйцами образовался у него вполне вместительный кошель. Многие прятали сигареты под подкладку кепок и в промежности ушанок, в носки и в ботинки, за отвороты штанов, но на плацу всем велено было разуться, шмонали круто и тщательно, но все равно каждому удалось пронести с собою курева, хоть и образовалась посреди грязного двора внушительная белая сигаретная груда, на которую мы все оборачивались, сожалея, когда нас запускали в барак.

После ужина арестантов ждало последнее развлечение — камеры по очереди отмыкались и их обитателей перед сном водили во двор на opravку. Потом еще была процедура поголовного пересчета, потом вертолетчики по одному ходили за своими лежаками, и в это время гас яркий свет и врубался мутный, дежурный, неуловимо похожий на рыбий жир. Наконец, дверь с шумом захлопывалась, и по очереди, на разные лады, клацали запоры, и походило это на перезвон колоколов. Камера еще долго шебуршила, жужжала, кто-то кого-то теснил на нарах, тихо бранясь, но мужики все как один в этот час странно менялись, не было уже и в самых заводных дневного ухарства, и смолкали даже ставшие привычными подъябки. Довольно скоро то в одном углу, то в другом раздавался храп, сперва еще слышалось недовольное ну, сука, загудел и советы типа ты ему отсоси, он и успокоится, но скоро сопение, постанывание, тяжкий хрип с фистулой, клопочущий храп все нарастали, сливаясь в один тяжелый оркестр, И ка-

залось, он-то и издает помимо всей этой музыки еще и целую гамму запахов: пота, кишечных газов, гниющей в нездоровых ртах пищи и закисающей обуви и одежды. Казалось, в эти десять-пятнадцать суток у каждого из этих мужчин была одна самая важная цель — отоспаться, а, может быть, они и вообще привыкли к тому, что сон — это и есть лучшее время жизни человека...

Эти часы в тюрьме после того, как камеру наглухо замыкали, казались мне самыми кромешными. Тут и начинала давить душная тоска, отступавшая было за дневной суетой. И даже тихие беседы с товарищем не могли от нее спасти. Говорить не было мочи, нечем становилось дышать, и никак не удавалось уйти в спасительный сон. Бывалые люди говорят, что обессиливающей этой тоске подвержен в тюрьме прежде других тот, кто слишком много оставил за зоной, и, действительно, как это ни смешно, я все время, мечтая о воле, думал лишь о ванне и о чистом белье...

Но в этот день все было не как обычно. Будто глухая дверь прищемила край дневного праздника, и он еще долго мерцал в мутном полусвете камеры. Все было устроилось спать, когда ни с того ни с сего заговорил, и довольно внятно, чтоб все слышали, один молчаливый до того мужичонка.

— Я с бабой прошлый год в Геленджике отдыхал...

В другой вечер на него б цыкнули, но сейчас повисло молчание, выжидательное и будто даже поощрительное. Поймав общее одобрение, осмелев, он продолжил:

— Там на набережной, прямо напротив дом отдыха, автоматы стояли. С сухоньким...

— Алиготе? — спросил кто-то, но на него зашикали.

— Ну вот, просыпаюсь как-то, выхожу на балкон и не пойму: все бегут туда, к автоматам, кто с банкой, кто с бутылкой. Я схватил графин со стола, воду вылил и тоже, как был в трусах, подбегаю. А там уж мужиков туча: сломался автомат и дает вино за бесплатно.

Камера тихо загудела.

— Клянусь, ребят, из двух сосков течет — только подставляй. — Мужичонка тихо захихикал. — Там один даже с ночным горшком прибежал, у медсестры занял.

Слушатели оживились.

— Ну и дальше чего? — слышались вопросы. — А менты где были?

— Ментов не было. Никого не было. Те, кто у кра-на, другим полные банки передают, пьют по кругу, уже и кирпичных много, которые на старые дрожжи... А все течет.

Камера заволновалась. Отдельные скептические голоса потонули в хоре разнообразных соображений: куда надо было заливать, и как наладить порядок, и чтоб непременно кто-то стоял на атаке. Те, у кого особенно сильно работало воображение, сели на нарах, видно хорошо представив себе вожаемые соски, из которых точится бесперебойно живительная влага. — Жаль, что не портвейн! — воскликнул кто-то.

— А дальше-то чего? — торопили рассказчика слушатели.

— Текло, — отвечал тот. — Я тоже пробился, графин наполнил и майонезную баночку проглотил....

И вдруг мой товарищ, с которым мы лежали рядом на нижних нарах, причем мне пришлось для этого про-

пустить троих из очереди ближе к окну, потому что он пришел в камеру чуть позже меня, мой товарищ подал голос:

— А если бы, — сказал он громко и насмешливо, ведь философы — скептики по призванию, — а если бы оно и всегда текло?

Камера притихла. По-видимому, многие мгновения ушли у каждого на обдумывание этого несусветного предположения.

— Как это — всегда? — недоверчиво переспросили сверху.

— А так, — подтвердил философ, — бесперебойно.

— Ну, тогда, тогда.., — неуверенно протянул чей-то голос.

— Да ладно тебе — всегда, — грубо выкрикнул другой, как будто распознал провокацию. — Когда б всегда, то на хуя тогда...

И многие его поддержали, одобрительно загудев. Действительно — на хуя тогда. Товарищ мой своей репликой разрушил механизм сказочного сюжета. Мало того, не только рассказ сам по себе мигом потерял смысл, но обесмыслилась и сама жизнь, у которой отобрали внятную цель. Быть может, многие мужики на нарах представили себе эту жуткую картину, когда не в силах больше влить в себя этого сухарика, сухинича и кислятины, они присутствуют при том, как прозрачная жидкость стекает на землю, образуя мутные лужи, а потом ручейками устремляется к морю, и вот уже само море непристойно пузырится этим самым рислингом, белым мицне или алиготе...

Камера совсем было затила, когда на верхних на-
рах началась невнятная поначалу перебранка. О чем
там спорили — было не понять. Чей-то голос сказал:
кончай базар, мужики.

— Нет, ты вот сам скажи, — живо откликнулся один
из спорящих, — был бы ты Гагарин, и тебе предложили
бы в космос — полетел бы?

— Да на хуй туда летать — в вакуум в этот, — отве-
чали снизу.

— Так ведь первый человек в космосе, вы чего,
мужики, в натуре, — вскричали наверху.

— Да и не было никакого Гагарина, — сказали сни-
зу. — Куклу запузырили, а сам Юрик внизу сидел, звез-
ду героя дожидался.

— Это кто там, бля, пасть раскрыл? — узнал я го-
лос Слесаря. — А кто тогда сказал: поехали?

— А хули там — записали какого-нибудь там арти-
ста на магнитофон, говна-пирога...

— Да ты сам, бля, артист, — бушевал Слесарь и тя-
жело приземлился на казенный пол. — Гагарин, бля,
планету кругом облетел, пока ты здесь, бля, в камере
дрочишь...

Дело запахло дракой, но в это время конвоир тя-
жело постучал металлическим ключом в дверь и внятно
произнес, откинув намордник: отбой, кончай кипиш.

— Нет, Слесарь, ты все-таки сам-то — полетел бы?
— громким шепотом продолжали сверху.

— А чего — полетел бы, коли позвали б.

— И любой полетел бы, — подтвердил тот. — Чего
не полететь. Вон, Белка и Стрелка — и то летали...

— Вот, бля, я и говорю, собачье это дело над собой опыты ставить, — проворчал все тот же голос неподалеку от меня.

— Мне одна проводница рассказывала, — зашептал мне в ухо мой товарищ, — будто она с Гагариным спала, когда он в ее мягком вагоне ехал.

— Апокриф, — сказал я тихо, погружаясь в дрему, но и успев удивиться, что скептический мой друг тоже проникся темой.

— Я тоже так думаю...

Все успокоилось, но тут и там было слышно, что соседи продолжают обсуждение шепотом. Как ни странно, но сегодня меня клонило в сон, видно, выпитая водка и выкуренные сигареты оказались хорошим снотворным.. Засыпая, я представлял себе, как наша камера с двухэтажными нарами и вертолетчиками на полу летит по орбите, а в маленьком подпотолочном окошке можно увидеть, коли подтянуться на решетке, в дымке облаков очертания зеленых материков. Мой товарищ тронул меня за плечо.

— А ты? — спросил он.

— Что? — не понял я спросонок.

— А ты, — повторил мой философ-скептик, — а ты — полетел бы?

НЕМНОГО ЛАЗУРИ

В дорогом отеле по незамысловатому имени Monte-Karlo Beach,— с собственным, как вы понимаете, пляжем, с видом на бухту Ангелов, на мыс, на старый дворец князя, в квартале от которого сушится белье на веревках, протянутых поперек средневековых улочек, на купол Большого казино, наконец,— давно не видели подобной компании. А, может быть, не видели никогда.

Их было шестеро. Супружеская пара, откомандированная в эту экспедицию невесть кем; другая пара, лесбийская, — от московской туристической фирмы «Ясный сокол»; переводчица Оля или, может быть, Алена, — он так и не узнал ее настоящего имени,— нанятая принимающей стороной (по-русски она говорила с сильным южным акцентом, похоже, кубанским, а ее французского за всю неделю почти никогда не было слышно); и наш герой, притесавшийся в эту странную бригаду от журнала «Адвенчур», где у него имелась старинная симпатизерша в чине заместителя главного редактора.

У маленькой блондинки, младшей участницы лесбийской пары, бледные глаза всегда были красноваты и будто на мокром месте; это возбуждало, ее хотелось утешить и приласкать. Герой поначалу заглядывался на нее со скуки, не понимая еще, как темпераментна и ревнива женская любовь; но однажды, поздно возвращаясь из бара, услышал сквозь дверь номера, который занимали подружки, скороговорку второй, много более крупной густой шатенки: та басыла сквозь нешуточные

рыдания зачем ты на нее так смотрела, я видела, я все видела...

Супружеская пара тоже не могла составить ему компанию и скрасить это в общем-то нелепое приключение. Скорее всего — обоим было под тридцать, — они были молодожены: гуляли, всегда держась на руки, появились за завтраком с припухлыми лицами — и без того бесхитростными, их рты были постоянно в слюне. Молодой выступал в голубой майке с рукавчиками, цветастых трусах, коричневых носках с ромбами и в черных дешевых ботинках, а юная жена была завернута в нечто наподобие сари, но из набивного ситца — они, впрочем, и были из Иванова, — и в газовом шарфе. За всю неделю они так и не меняли гардероб, даже если вечером группу приглашали на обед.

Оставалась переводчица Оля-Алена — высокая, коротко стриженная, с сильными ногами пловчихи, с почти сросшимися густыми темными казацкими бровями над серыми очами. Но она была чересчур юна для него, лет на двадцать моложе, а он терпеть не мог ухаживать за девчонками, все равно что попрошайничать, да и не любил крупных девиц; впрочем, он вообще не умел ухаживать, да-да — нет-нет, и никогда не сердился на отказ, умел оставаться с неподатливыми дамами на приятельской легкой ноге; к тому ж, переводчица ходила с неподвижным лицом, всегда в одном и том же вдовьем каком-то платье под горло, но без рукавов, с открытыми смуглыми подмышками — черном, хоть стояла жара по российским меркам, градусов двадцать пять по Цельсию от часа и до пяти. И ходила всегда с пустыми руками: ни сумочки, ни ридикюля...

Русскому господину сорока с лишком лет, на излете сентября, одному на Французской Ривьере, без местного языка, скучно хоть удавись. Одно развлечение — наблюдать за соплеменниками, потому что даже немцев в эти дни угасания бархатного сезона и перебазировки богатых бездельников на Альпийские горные курорты здесь не остается. Бабье лето на исходе, уже желтеют платаны, — самое русское время. Невольный соглядатай, — впрочем, наш герой был таковым и по журналистской обязанности, — в глазах соотечественников он не обнаруживал былого шального заграничного возбуждения и удивленного восхищения собой. Все чисто одеты, прилично себя держат, не курят на набережной и не ссут под пиниями; русские теперь выглядели так, будто они перестали отличаться от прочего населения Земли. Но это — внешнее, конечно: в памяти аборигенов они умудрялись-таки оставить незаживающий след. Французские горничные устали удивляться тому, что после русских постояльцев в ванной комнате не остается мусора. Ни пузырьков из-под шампуней и гелей, ни коробочек от мыла, ни даже обломков картонных одноразовых пилочек для ногтей. Более того, порции шампуня и мыла исчезали с удивительной быстротой, и, если все это было использовано по назначению, оставалось лишь поражаться славянской гигиеничности. Впрочем, конечно же, уборщицы, алжирки или марокканки, понимали, что русские всю эту мелочь забирают с собой, как и принадлежности для письма, бланки и конверты с маркой отеля, шариковые ручки, пепельницы и стаканы с вензелями, — наверное, желанные сувениры в их селениях. Но не это приводило их в замеша-

тельство, а другая особенность русских — отсутствие по утрам в номерах любовных пар брошенных на ковре у кровати использованных презервативов, как это бывало в номерах американцев или англичан. Быть может, предполагали горничные, это идет от избыточной русской стыдливости, а, может быть, закрадывалась им в голову смешная мысль, эти одноразовые предметы русские тоже увозят с собою для повторного использования.

Впрочем, все это были лишь милые пустяки и детские шалости. Но вот когда в мини-баре после отъезда русских следующий постоялец в бутылочках из-под водки и джина обескуражено обнаруживал воду, а из-под коньяка и виски — чай, это уже администрацию всерьез беспокоило. И те наши сограждане, кто оскорблялся, что на их глазах при заселении горничная тщательно опорожняет мини-бар, должны были бы знать, что это не проявление французского хамства и ксенофобии, — просто до них здесь уже проживали одноплеменники...

За всю нелепую компанию платила французская сторона, которую представляли достаточно беспечный для бизнесмена мсье Марэ и его хоть и легконогая, но немолодая мадам с каре, как у Матье, — платила в порядке ознакомления русских партнеров и представителей прессы — то есть, нашего героя, — со своим товаром: роскошными отелями и песчаными пляжами. Но прайс-листы показывали с неохотой, хоть и без того было известно, что хорошие номера русским обходятся в среднем дороже, чем прочим европейцам, на сотни две-три евро. Почему? Легко подсчитать: предусматри-

тельные, но жадноватые, французы сразу закладывали в стоимость проживания русских завышенную цену пары махровых халатов, дюжины полотенец и двух пар махровых же тапочек. Ибо русские, платя за номер в сутки от восьми сотен и выше, имели привычку все эти предметы, которые можно приобрести в ближайшем магазине за десять-двадцать евро, также забирать с собой. Мебель, ввиду печалющих русских гостей габаритов, они все-таки не выносили...

Тяготясь своей случайной компанией, наш холостой господин, когда позади остались и очаровательное княжество Монако, и гигантская Ницца, отдаленно напоминающая промышленную часть Симферополя, разболтался по-английски с одним работником курортной сферы обслуживания. Они уж докочевали до роскошного отеля Martinez в Каннах, стоявшего на знаменитой набережной Круазет. В сезон, свободный от кинофестивалей и голливудских созвездий, здесь останавливаются короли и президенты, и фотографиями именитых гостей были увешаны стены огромного холла. Молодой швейцар в форме, похожей на мундир Иностранного легиона, которого наш герой попросил выпить за Россию, сунув десятку, довольно церемонно поведал, что только с начала этого года по сводке на конец сентября через отель прошли три тысячи восьмьсот русских постояльцев (наш герой переспросил — нет, он не ослышался). Мы выполняем все их желания, для нас нет ничего невозможного. Однако о том, какие именно желания русские гости изъявляют чаще всего, он предпочел не говорить. Но в самых общих чертах: они не желают

испытывать затруднений с языком при заказе обеда в номер и предпочитают не заботиться ни о чем.

Официант-тунисец в пляжном ресторане был разговорчивее: они едят очень много устриц. Интересно, что значит много устриц с точки зрения француза? Какие их самые любимые развлечения? О, месье, я видел, как один русский летал над пляжем на парашюте, держа в одной руке бутылку «Вдовы Клико», а в другой — бокал. Наш герой и сам как-то на Корфу участвовал в подобном аттракционе, когда вас на парашюте, привязанном тросом к катеру, поднимают вверх на сотню метров. И подвиг неизвестного русского бандита показался ему сродни подвигу Гагарина: ведь в полете, он помнил, первым делом хочется вцепиться руками в парашютные стропы.

На городском пляже под набережной, не смотря на то, что по меркам французского юга в Канне стоял уж холод собачий — двадцать два в тени, вода двадцать, — было не протолкнуться. По тому, как купальщики неистово мазались кремами и маслами — от загара, для загара, вместо загара, — можно было узнать русских. Раскинувшись на лежаке, но не снимая ни шорт, ни майки, наш герой лениво наблюдал за парой босс-секретарша, которая усердно, с серьезностью выполнения экзаменационного задания, втирала в себя какое-то эвкалиптовое средство. Быть может, то была попытка забыться. Потом они обнаружили другую страсть, присущую всем уставшим от жизни, от самих себя и от необходимости недешевого тяжелого отдыха путешественников мира — маниакальную тягу к самозапечатлению. Русские и здесь давали фору даже японцам: в ресторане они сни-

мали каждую перемену блюд, смуглых нагловатых официантов в белых перчатках, самих себя на фоне каких-нибудь спагетти, передавая камеру из рук в руки. Какова цель этих утомительных стараний, думал наш герой, но отгадать было невозможно: в конце концов родные и близкие посмотрят все это один раз и зевнут. Ошибочно в этом видеть и проявления нарциссизма, думал он, попытку создать фото-музей своего имени для потомков. Скорее, отученные телевизором живо воспринимать окружающее, потеряв, так сказать, технику непосредственного впечатления, бедняги пытались компенсировать отсутствие глаза и памяти с помощью технических средств... Босс снял секретаршу, она запечатлела его. Парная съемка, по-видимому, не входила в их программу.

Мучаясь жаждой, герой побрел обратно в отель. Наверное, здесь должен был начаться какой-нибудь престижный международный конгресс, и в холле стояли разноплеменные группы участников — все, разумеется, в костюмах и галстуках, с кейсами, в которых, должно быть, были тексты докладов и слайды. Наш герой, лавируя, добрался до лифтов, и тут из кабинки вышла грация, обернутая на банный манер в большое махровое полотенце так, что оставалось лишь гадать — есть ли под полотенцем бикини. Под изумленными взглядами даже невозмутимых японцев она прошествовала куда-то вглубь холла — быть может, к бассейну,— и герой узнал переводчицу Олю-Алену. Она, казалось, его не заметила, но он быстрым наметанным глазом отметил, что ее ступни, на которых были резиновые шлепанцы, полноваты, будто опухли, а на ногтях не было лака.

Быть может, она не знала, что в бассейн следует выходить, пользуясь внутренними лифтами. К тому ж, близилось время обеда, уж не забыла ли она посмотреть на часы, вдруг заволновался наш герой. Впрочем, что ему до этого, одернул он себя, не желая признаваться себе, что Оля-Алена в банном наряде показалась ему аппетитна...

Кормили их только в самых отменных местах. В Монте-Карло это была открытая веранда кафе Hotel de Paris, где однажды они вкушали ланч в одно время с принцем Альбертом и принцессой Стефанией, которая даже одарила нашего героя длинным и бесцеремонным взглядом — совсем как простая смертная немка, ищущая курортных развлечений... Все бывало шикарно настолько, что у героя стало плохо с аппетитом, поэтому перед каждой трапезой он отъединялся от других, чтобы перехватить в качестве аперитива пару порций кальвадоса в уличном кафе. Мало ела Оля-Алена — делала она это как-то задумчиво. Молодожены наворачивали за четверых, но будто таясь. Но больше всех ела и пила сопровождающая французская пара: русские далеко от них отставали. Очень даже понятно отчего — за все платила их фирма, и грех было не попользоваться.

Здесь, в Канне, их пригласили в ресторан seafood, подавали какой-то морской коктейль, уха не уха, в огромных огненных котелках; внутри плавали лангусты, тарасились каракатицы, топорщились гребешки, перекатывались на дне устрицы, ныряли какие-то игривые рыбки. Принимающий француз все порывался говорить тосты, сам смеялся своим шуткам, но никто его не понимал. Его легконогая жена с каре умяла весь котелок

под бутылочку прованского розового в один присест, пока русские только приглядывались с опаской к морским гадам. Когда она промокнула губы салфеткой, наш герой не без подковырки спросил ее с деланной галантностью: как при этом ей удастся сохранять такую стройную фигуру? Кажется, она поняла и его английский, и сомнительность комплимента, потому что ответила кратко: *habit!* И достала пудреницу.

За обедом разыгралась еще одна милая сценка. Дело в том, что многие русские за границей страдают двумя болезнями: крайней застенчивостью и неуместной отчаянностью. Эти состояния могут чередоваться с высокой частотой и являются на самом деле двумя сторонами одной медали — русского заграничного невроза. Начинает казаться, что тебя надули, — ведь от поездки так много ждалось. Накатывает ностальгия. Охватывает острое чувство неудовлетворенности: вот это пыльное поселение и есть та самая хваленая Ницца. Иностранцы раздражают тем, что говорят непонятно. Их жаждет растерзать, когда они улыбаются, коли ты путаешь в разговоре *bonjour* и *aurevoir*. Часты расстройства сна. Солнце светит не так и не оттуда. Не получают романы с лифтом и телевизором, а кондиционеры доводят наших дам до истерики. Ближайшую пальму-уродку хочется задушить собственными руками... Это состояние изживается разными способами; так, в нашей компании малышка-лесбиянка, по-видимому, глубже других страдала этим недомоганием, но у нее оно превратилось в болезненную требовательность и разборчивость, подогреваемую тем, что старшая подруга всячески потакала ее капризам... В одном из отелей душ

был зафиксирован и невозможно было взять его в руку и помахать над головой, и малышка устроила сопровождавшим французам настоящую истерику; на пляже в Жуан Ле Пене, лучшем местечке в Антибе, на дне моря росли водоросли, и это пугало ее до икоты, как ребенка; в Negresku — самом знаменитом отеле Ниццы, она была просто удручена плачевным состоянием тамошней мебели, даже комод был весь разошедшийся, и, заплакав, принялась утверждать, что здесь над русскими издеваются; оказалось, к лесбиянкам хотели подластиться и поместили в номер, обставленный под старину, с мебелью, на которую были нанесены передающие дух времени кракелюры.

За обедом в Канне малышка для начала, с загодя уж будто заплаканными глазами, меланхолично, но решительно забраковала розовое вино и потребовала белого, но не смогла объяснить — какого; ей принесли легкое Мюскаде, и она обиделась на то, видно, что оно оказалось в наличии и демонстративно отодвинула бокал. Реванш пришелся на десерт: она потребовала несуществующего в меню ромашкового чая, оскорбляясь, что ее не понимают; тут Ольга-Алена с мокрыми после бассейна слипшимися волосами — в душе, очевидно, она не была — перевела что-то официанту, и наш герой в первый и последний раз услышал ее французский: она говорила горлом, но сипловато и мило спотыкаясь, получалось вполне сексуально. Принесли чай; капризница отхлебнула и разразилась слезами — чай оказался с мятой. Кажется, она была безутешна, и старшей пришлось увести ее наверх, на набережную; напоследок обе окинули взглядом спутников — старшая негодующим,

младшая полным смиренного страдания Пьеро, которого только что отлупили на глазах у публики... Впрочем, сопровождающие сделали вид, что ничего не заметили. Подали сыр, потом груши и кофе, по гомеопатической дозе какого-то диковинного коньяка в огромных глубоких рюмках. И новобрачная, уже красная и потная от обильной жратвы, совсем попунцовев и конфузясь, спросила себе пирожное...

Оставался лишь день пути и последний привал в отеле Апельсин, стоявшем на холме над Сан-Тропезом. День был посвящен экскурсии по трем средневековым кварталам старого города, то есть того, что осталось от крепости, некогда построенной здесь генуэзцами из соображений следования знаменам — типа чудесной самодоставки по воде мумии некоего рыцаря, ну и так далее. Здесь было прозрачно, стены домиков на горе — разноцветны, море лазурно, вино розовопенно, как в «Одиссее», и было вполне понятно, отчего именно здесь Сера изобрел пуантилизм. Впрочем, как перевела новобрачная своему суженому — шепотом, но достаточно громко — из объяснений гида: художники всегда любили это место, потому что здесь хорошая жизнь. Гид сказал *beautiful light*, но этот мотив выбора места постояльства был неясен жительнице Иванова, и ей перевелось так, как желалось...

Ночью в его дверь постучали. Дверь была не заперта, открылась сама, он едва успел включить ночник, разглядел фигуру Оли-Алены. Она была в своем обычном черном платье без рукавов. Простите, у вас не будет маникюрных ножниц, я сломала ноготь. Он посмотрел на часы, было начало второго. Может быть, она

пьяна, подумал наш герой, поскольку только что им всем был задан прощальный ужин. Она говорила гортанно, с южным волнующим прононсом. Ножниц у него не оказалось. А аспирин у вас есть? Аспирин был; не вставая с постели, он извлек из тумбочки зеленую пластмассовую трубочку Упса. Она подошла совсем близко к его кровати, строгая и не такая юная в ночном полусвете — зрелая сильная женщина. Наверное, у нее есть ребенок, отчего-то подумал он. Она принялась откупоривать пробку лекарства, не надо, возьмите, вернете завтра... Она извинилась, пожелала спокойной ночи и невозмутимо удалилась. Он вышел на балкон. На темные холмы Прованса светила луна. Там, за ближним лысым гребнем, жила в своей вилле Бриджит Бордо с дюжиной домашних животных, включая козу,— так сказал сегодняшний гид... Вернулся в номер, достал бутылочку джина из мини-бара, чувствуя себя одиноким. Но заснул быстро, сквозь дрему размышляя о том, что, наверное, Бордо живет без мужика, потому что уже стара, стара...

В аэропорту Ниццы было еще одно, последнее приключение: Оля-Алена что-то сказала провожавшим их французам, роясь в кармашке маленькой дорожной сумки на одной бретельке. Она оставалась невозмутима, тогда как легкомысленный француз мсье Марэ буквально побелел. Оказалось, Оля-Алена забыла свой паспорт в отеле, что было катастрофично: обратно в Сан-Тропез до отлета было никак не успеть. Выручила жена француз: она бесцеремонно выхватила из рук девицы сумку, вывалила содержимое на пол, и, беззвучно ругаясь, выудила багряный паспорт из мокрого

комка, составленного купальными трусами, грязным махровым полотенцем, позаимствованном в одном из отелей и — тут наш герой пригляделся — пачки презервативов, на которой отчетливо значилось Sico, и ниже — safety... Von, только и сказала растяпа.

В самолете они оказались рядом. Она вернула ему баночку аспирина, он достал бутылку red lable, что приобрел во фри-шопе, они пили шотландский виски из аэрофлотовских стаканчиков — летели эконом-классом, французов же с ними не было, — запивали принесенным стюардессой тоником. Очень скоро ему стало хорошо, и он почувствовал, что хочет домой, что устал от ритуальной французской вежливости, чрезвычайной разговорчивости и веселости не на родной манер. Отчего-то он вспомнил, что в сумке у него — парочка пузырьков шампуня с вензелем Martinez и несколько коробочек мыла из Monte-Karlo Beach, и подумал, что если Оля-Алена придет к нему, то узнает эти штучки у него в ванной, и они вместе вспомнят... Еще глоток, Юрий, вдруг попросила переводчица, и он поразился и чуть испугался тому, что она назвала его по имени. Через час полета он хотел было поцеловать свою спутницу, но она очень серьезно встретила его взгляд, чуть улыбнулась, попросила бумаги и ручку. Он достал блокнот, она написала ему свой телефон, но не написала имя: то ли по забывчивости, то ли полагая, что он должен знать, как ее зовут. И это несмотря на то, что он ни единожды по имени ее не назвал.

В Шереметьево они попрощались, как незнакомцы. Он пошел вырывать свою машину со стоянки, — она сказала, что ее встречают, — и даже не увидел, кто именно.

По дороге он думал лишь о выпитом в полете виски и встрече с милицией, но доехал без неприятностей. Разбирая вещи, вспомнил о записанном ею номере телефона, разыскал в кармане пиджака, который бросил на кресло, положил рядом с аппаратом, решил, что позвонит ей завтра. Или на днях. И позвонил своей замужней любовнице на работу, но той сначала не оказалось на месте, а при повторном звонке выяснилось, что она может только завтра.

И черт с тобой! Вечером он смотрел футбол.

Оле-Алене он действительно звонил: и на следующий день, и потом еще раз. Он попадал в один и тот же офис, в котором довольно невежливо ему отвечали такой у нас нет. Возможно, она неправильно записала свой служебный номер, была не трезва, а домашнего почему-то не оставила. Что ж, быть может, она жила с кем-то, хоть и была не замужем, если верить, конечно, ее словам.

Дня через три с любовницей он поссорился. Без особой причины: виновато было его дурное настроение и то, что она его на этот раз отчего-то не возбуждала. Он позвонил еще нескольким давним приятельницам, одна оказалась свободна, но в последний момент он сам дал отбой: я только узнать, как ты живешь...

Еще через несколько дней на обратном пути из редакции домой он отчего-то поехал через Смоленскую, хотя должен был свернуть на мост к «Украине», остановился перед зданием, в котором был туристический офис: здесь он брал паспорт с визой и билет, и здесь впервые видел Олю-Алену. Но не стал выходить из машины, только посмотрел на входные двери, и ему на

миг показалось даже, что он видел в толпе мелькнувшую ее фигуру.

Дома он теперь время от времени пытался представить себе, как она пахнет в постели. И как выглядит ее лобок: кажется, она брила волосы под купальник. Впрочем, это он уже фантазировал. Он вспомнил ее грудь: она не носила лифчик, и временами соски оттопыривали черную ткань... Вот, собственно, и все, что он мог вспомнить, осознав, что тоскует по ней.

Это было странно: он давно не влюблялся. Если это состояние, которое он испытывал, можно, конечно, назвать влюбленностью. Их мимолетное знакомство вышло ему теперь упущенной возможностью. Не за аспирином же она приходила к нему в номер ночью после банкета... Он представлял себе, как раздевает ее. А, может быть, и не нужно было ее раздевать, просто повернуть и задрать подол платья... Как-то он еще раз набрал номер, — на всякий случай, — но на том конце раздался неприятный писк включенного факса.

Еще через неделю он все-таки разыскал нужный офис. Оказалось, что эта самая Оля-Алена не служила здесь постоянно, но подрабатывала в летнее время отпусков штатных сотрудников. Как с ней связаться — никто не знал, она звонила сама.... Он оставил для нее свой телефон, но она то ли не получила его, то ли не стала звонить.

Однажды он поймал себя на том, что разговаривает с ней. Он рассказывал ей о себе, но сам с неприязнью к собственной жизни обнаружил, что говорит вслух банальности: учился, служил, ездил в командировки, один раз женился, но как-то по инерции, жене постоянно из-

менял, потом она ушла. И он не жалел об этом... Ему отчего-то казалось, что эта самая двадцатилетняя девица прожила свою жизнь значительнее и разнообразнее. Он попытался представить, как она потеряла невинность, наверное — на новогодней вечеринке, как большинство девиц, и это было ему неприятно. Но он возбудился... Нет, найти ее он не сможет. Он смирился с этим. Он просто говорил с ней, как будто они жили вместе, и, когда работал, кричал ей в соседнюю комнату, где она вязала ему шарф, чтобы принесла чаю... Бумажка с ее номером давно подевалась. Иногда он воображал как они идут куда-то вдвоем. Он не знал, — куда, в ресторан или в гости. Но он следил, чтобы она была правильно одета, и она слушалась его. Как отца, нет, как старшего брата.

Он покупал ей цветы. А потом, когда они вяли, упрекал ее, что она ленится, не меняет воду. И еще его преследовало ее двойное имя. Он попытался мысленно расчленил его, но получалось плохо, он продолжал называть ее по-прежнему. Он только вспомнил, что у него было несколько Ален и много Ольг.

Одна из Ален помнилась особо. У нее были хорошие ляжки и большие, чуть вывернутые губы. Она удобно жила, за магазином «Обувь» на Калужской, ее мама получила эту двухкомнатную квартиру, потому что много лет беспорочно служила бухгалтером в ВЦСПС. Ее мать всегда приторно ему улыбалась. Быть может, она так улыбалась всем друзьям дочери, потому что наверняка считала, что та, в свои двадцать четыре, засиделась. Быть может, сама Алена тоже так считала, потому что была услужлива. Он и думать не думал, что Алена могла быть просто-напросто влюблена, знал, что, во

всяком случае, она нежна и удобна. Кончилось тем, что он сам все испортил, облапав однажды спяну ее подругу, которая вовсе ему не нравилась. Нет, это было не при Алене, конечно, но подруга, скорее всего, наябедничала. По прошествии какого-то времени после разрыва, Алена сама позвонила и напросилась в гости. Она приехала сногшибательная, как выяснилось — только что с Балатона, похудевшая и загоревшая, показывала атласные ляжки, сидя на его тахте с ногами, рассказывала, что в Будапеште у нее был обалденный венгр, а потом злорадно и торжественно нашему герою не дала. Чтоб, мол, знал, от чего отказался... Она преувеличивала его былую страсть. Он и вправду прикинул, что неплохо бы ее трахнуть по старой памяти. Но когда он потянулся гладить ее капроновые ноги, и она ему отказала, не слишком убивался: в постели Алена была так же пресна, как ее мама и совет профсоюзов.

Другое дело олечки. Живые, тоненькие, мастерицы. Одна задержалась надолго. Если б он не собирался тогда жениться, он был бы с Олечкой еще дольше. Впрочем, в тот раз он не женился, а Олечка вышла замуж за работника бензоколонки, который учился в МАДИ заочно. Она познакомилась с заправщиком на его же глазах, потому что ездила на девятке, которую ей подарил когда-то какой-то бывший начальник. Он не придавал тогда всему этому значения, они как-то быстро расстались — сейчас не вспомнить отчего, но Олечка плакала, — а потом она еще раз к нему приехала, прошло уже несколько лет, сказала, что родила двойню. Когда он ее раздел, она простодушно заметила, что и сейчас кормит, и действительно — соски у нее, тонень-

кой, стали неприятно большими, как грибы. Потом она еще раз рассмеялась, что, мол, забыла как это делается, и он был рад, когда она ушла.

Размышляя, Аленой та была или Олечкой, он жалел, что не сделался писателем. Он отчего-то теперь часто думал об этом, потому что после каждой вечеринки у него принимался болеть правый бок. Когда-то он хотел сделаться писателем, и даже печатался в Юности, но ему всегда казалось, что эта какая-то геморроидальная профессия, не профессия даже, а род неполноценности, своего рода инвалидность, стыдная для сильного и подвижного мужчины. Хэмингуэй это, конечно, прекрасно, но Хэм, как этого американского писателя отчего-то звали в России, — дурацкое амикошонство, — в своей мужественности, звероубийстве и рыболовстве, был подозрительно одинок в ряду коллег — сплошь алкоголиков и истериков, инвалидов, безумцев, пиздострадатель и самоубийц... А теперь и вовсе отечественная литература стала уделом дам.

Он не знал анатомии, и гадал, болит ли по ночам у него печень, или это почка, или поджелудочная железа. По всему выходило, что печень, хотя он и так старался пить только водку, изредка красное вино. Он сжился со своей Аленой-Олечкой, любил и ее южнорусский акцент, и молодость, и фигуру в одном и том же черном платье. И ему было приятно, что она заботится о нем и напоминает, когда нужно принимать лекарства. Впрочем, у врача он не был, и никаких лекарств не принимал.

Он и сам не знал, хотел бы он жениться на Олене-Алене, скорее всего, нет, но все чаще чувствовал себя

потерянным, в досаде, как если бы днем забыл сделать что-то важное. К тому же, ему принялись сниться сны. Подчас неприятные: например, что он излупил в кровь своего приятеля молодости, с которым наяву не виделся много лет. Снились горы. Подчас лабиринты, из которых он, задыхаясь, пытался выбраться. Иногда это были сны эротического свойства, но довольно скучные, хоть и с поллюциями... Однажды ему приснилось, что он чем-то страшно провинился. Ему приснилось, что он стоит перед отцом, который говорит: это все оттого, что ты много пьешь и мало работаешь. Отец никогда не повышал голоса, и сейчас говорил ровно, но зловеще. Причем он был почему-то не седым, а крашеным, что ли, в каштановый цвет. И за спиной его маячила мать, но маячила смутно, как бывает во сне. И этот сон отчего-то был, как ночной кошмар, хотя ничего страшного не происходило, и стал сниться, один и тот же, все чаще. И однажды он проснулся среди ночи с рвущимся сердцем, чуть не в слезах. Сел на постели. Тянуло в боку — он перебрал накануне. И все повторял самому себе уже наяву: все хорошо, все нормально, это только сон, отец умер.

КЛУБ «ЛУЛУ»

Недавно мне сказали, что заведение прикрыли. Отобрали лицензию у владельцев или что-то в этом роде. Жаль, это было веселое и не вполне обычное место. Конечно, насколько может быть необычным и веселым дешевый ночной стрип-бар в городе Хельсинки в конце февраля. Если вы бывали в городе Хельсинки в конце февраля, вы поймете, о чем я говорю. Но в «Лулу» была своя изюминка. Сейчас расскажу по порядку.

До сих пор не пойму, зачем меня в тот раз понесло в столицу Суоми: ни застарелого гонорара, ни лекций в университете, когда за сотню баксов от тебя требуется нести ахинею в течение академического часа перед энтузиастами, тебя почти не понимающими. Позвонил коллега из Питера, сказал, что какие-то его сочинения и кое-что из моих рассказов финны перевели на свой финский язык и выпускают в свет под одной обложкой. «Нас объединила тематика», — пояснил мой питерский визави. Кажется, он имел в виду нашу с ним писательскую репутацию. Не такую, конечно, как у записных сотрясателей моральных основ, но все-таки. «Зовут на презентацию...»

Сколько раз ни прибывал на хельсинский вокзал, всегда путался, где богатый «Стокман», где бронзовый Маннергейм, где рыбный рынок. Гостиница была заказана и оплачена, финны не надули. В номере широкая кровать, но узка душевая кабина, пришлось втискиваться боком. Я был еще обернут белым гостиничным махровым полотенцем, как в дверь постучали. Питерский поезд моего коллеги тоже прибыл по расписанию. Даже

не оставив в своем номере чемодан, он сразу же решил меня поприветствовать. Мы обнялись. Он, большой как таежник, со сдвинутым чуть набок носом-клювом, скинул пальто, на котором еще не высох темный уличный снег, на мою постель. И произнес:

— Что ж, уместимся, а?

Один на двоих номер и общая супружеская кровать — это был не единственный сюрприз скаредного финского издателя Укки. Презентацию назначили на два часа дня.

— После обещали обед, — сказал мой коллега по постели и литературе, стягивая серые нейлоновые, с малиновыми ромбами на щиколотках, носки. И добавил: — Деньги за билеты тоже обещали отдать сегодня.

Он едва не разнес душевую кабинку, пока в нее проникал.

Презентация состоялась в Доме дружбы — что-то в этом духе. Председательствовал Укка, человек без подборода, прикрывший этот провал редкой желтой бородой; в годы студенчества и стажировки в МГУ он был женат на трех подряд российских провинциалках с филфака, импортированных им на его родину, а ныне заново пребывал холостяком: родина ему это отчего-то простила. Несмотря на то, что была суббота, присутствовали целых три слависта, один из которых из Таллина, несколько неясных лиц аспирантского вида и две наших переводчицы. Моя оказалась худой застенчивой девушкой лет пятидесяти пяти, не знающей ни единого слова по-русски, — Укка, видно, снабдил ее подстрочником. Коллеге досталась дама помоложе, в радужных рейтузах, длинном толстом свитере с лапландскими

оленями, в красной теплой шапке с ушами, которую не снимала, с тремя серебряными сережками в левом ухе, — здешняя скандальная писательница, как выяснилось, по имени Леена.

Не знаю как другие, но я в таких ситуациях испытываю неловкость. Не могу поверить, что дюжине людей в здравом уме нечем себя занять в выходной день. Могу сказать, что в Москве на встречу с финскими сочинителями, будь это даже Леена, будь это даже в понедельник, я не пошел бы ни за какие коврижки. Впрочем, мой коллега, руководивший в Питере одной из многочисленных ныне писательских организаций, на вопросы, заданные не иначе, как из вежливости, отвечал зычно как дьякон; он оседлал ситуацию и подробно доложил о феноменальных прорывах российской эротической прозы, приводя примеры из собственных сочинений и дважды кладя Леене руку на рябые рейтузы. Тщедушный, но тщеславный Укка с укоризной смотрел в пространство.

За скудным обедом в ресторане нашего же отеля угощали лишь пивом, и это при том, что я вручил Укке при встрече одну из двух дозволенных финскими таможенниками бутылок «П. А. Смирновъ». К девяти переводчицы откланялись; при нас остались лишь хозяин, застенчивый русско-эстонский славист, который стал приставать к нам с литературоведческими подробностями, и — перспектива одной на двоих постели. Я наклонился к уху коллеги и предложил поехать в ночной клуб. Откланявшись, мы, конечно, сперва заглянули в номер и выпили по стакану питерского мартини. Потом сели в такси — и оказались в просторном ангаре, разре-

занном цветными прожекторами; гремела американская попса, по элегантному полу в большом количестве фланировали девушки здешней национальности. На их счет иллюзий у нас не было. Судите сами: зачем нужен финской девушке любого возраста, искренне полагающей, что по субботам она живет в Западной Европе, немолодой русский литератор. Мы с коллегой, конечно, изобразили пару туров кадрили, но на наш английский партнерши реагировали вяло. Присев в угол, мы коротали время, за пару часов выпив по полтора литра пива. Чухонский народный праздник жизни кипел перед нами, но чуть в стороне. Дело близилось к двум ночи. Когда, одинокие, мы выкатились во двор, там пронзительным сквозняком тянуло с залива. У таксиста, которого мы собирались было попросить доставить нас в общую постель, мне пришло в голову спросить, нет ли здесь русских девочек. Шофер не стал делать вид, будто не понимает моего языка. Минут через десять мы были на темноватой улице, где над нами высветилась надпись Night Club Lulu.

Стайка соотечественниц поджидала нас у входа: что так поздно, мальчики, в четыре уже закрываем. В фойе, едва мы приобрели входные билеты по двадцать марок с носу, нас поймала дама лет сорока: все для вас — без гондонов и групповуха. Мы подивились такому сервису. «Вы ж из Москвы? Ваши всегда так заказывают». По-видимому, недавно здесь гуляла солнцевская братва...

В полутемном вытянутом зале на подиуме заканчивала снимать трусы худая татарка. Мы устроились в нише за деревянным столом и заказали еще по бокалу

пива. Предложения не заставили себя ждать, и скоро мы были в курсе здешних расценок: сто пятьдесят баксов до утра, которое, впрочем, уж брезжило.

— Я бы не отказался от вон той, — сказал мой коллега, указав на смазливую длинноногую девочку со строгими глазами, по виду одиннадцатиклассницу, идущую на медаль.

— За какие же услуги они просят такие деньги? — усомнился я.

— Быть может, знают какие-нибудь штучки, — коллега положительно был оптимистом.

К нам подходили миловидные и не очень девушки разных национальностей из стран ближнего российского зарубежья, вплоть до Туркмении. Многие, как выяснилось, были студентками или аспирантками, причем самый высокий образовательный уровень оказался у русскоязычных обитательниц бара, прибывших из свободолюбивой бывшей советской Прибалтики. Судя по инициативности здешнего населения, нынешний хлипкий промозглый денек, хоть и субботний, был не лучшим для любовного бизнеса, и предложение много обгоняло спрос.

— Никогда не платил за любовь, — сообщил я коллеге.

— Здесь этот фокус не пройдет. Попробую сбавить цену.

Он отправился к приглянувшейся ему медалистке, ко мне же под села пухленькая коротконогая миловидная девчушка лет тридцати, из Ленинградской области, очень, впрочем, сметливая. В ответ на мои вопросы она пояснила, что расходы у девушек большие: в баре с них

берут не только за вход, но и за выход, если с клиентом: уже сорок марок. Плюс квартплата и горячая вода. Так что на круг от полутора сотен за одну ходку остается дай бог половина. К тому же она посылает деньги дочери, которой надо учиться, учиться и учиться. И маме. Я посочувствовал здешней дороговизне жизни, высокому налогообложению в самом баре и конкретно ее личным обстоятельствам. И решил, что коли коллега сторгуется, то я превосходно выплюсь один в нашем номере.

— Она сказала, что если вместе с другом, то можно получить скидку — на опт. Как ты?

— Или по любви, или никак, — стоял я на своем.

Он посмотрел на меня с недоумением.

— Здесь только профи, здесь доброволок нет. — И прибавил, когда моя пейзажка отошла «на минутку»: — Неужели думаешь ее уломать?

— А почему нет, мы друг другу понравились.

— Пари, — сказал он, — что у тебя ничего не выйдет. С тебя обед в китайском ресторане, если не договоришься бесплатно.

Если предыдущей ночью в душном спальном вагоне долго пить коньяк, а потом полдня класть пиво в немалых количествах на красный мартини, это не просветляет разум.

— Идет, — сказал я. — Но как ты узнаешь, платил я ей или нет?

— Во-первых, я тебе верю. Но на всякий случай — сколько у тебя с собой денег?

Я развернул бумажник:

— Триста долларов. И немного марок.

— Карточки у тебя нет?

— Нет.

— Гони сюда деньги. Оставь себе пятьдесят марок на такси. Встречаемся в гостинице в восемь утра, и я тебе верну. Если у тебя ничего не получится, не будешь же ты болтаться на улице всю ночь из-за дармовой китайской жратвы.

Я согласился, что болтаться не буду, и мы ударили по рукам. Он удалился, довольный собой, держа школьницу за длинную талию. Теперь выиграть пари было делом чести.

Я встретил свою пейзажку самой обворожительной улыбкой, на какую был способен, испытывая, однако, прилив робости. Она ждала.

— У тебя хорошие глаза, — сказал я, понимая, что скорее всего завтра мой литературный друг будет опохмеляться китайским пивом, закусывая пельменями с креветками. За мой счет.

— Я живу недалеко.

— У меня нет денег, — сообщил я ей горькую правду. — Но ты мне нравишься.

— Ты мне тоже нравишься. Сто. Тем более все равно уже закрывают, — добавила она простодушно: сегодня другого клиента ей не подцепить.

— Я буду вспоминать тебя и терзаться, что из-за какой-то сотни баксов упустил любовь.

Она посмотрела на меня внимательно. Она, мне показалось, готова была еще сбавить цену.

— По себе знаешь, как одиноко одному вдали от родины, на других берегах.

— Ты моряк?

— Нет, я писатель. Другие берега — это образно.

— У меня был один моряк, — отозвалась она, — ты на него немного похож.

Если так, мои шансы росли.

— И ты никогда не бываешь ни с кем по любви? Просто так, без денег, как в юности...

— Как в юности больше не бываю, — вздохнула она, посмотрела мне в глаза и поцеловала в щеку. — Пойдем, писатель.

Она действительно жила недалеко — за углом. Однокомнатная квартирка, скорее студия, убранством напоминавшая аспирантскую комнатку в университетском общежитии. Только вот почти все место занимала широкая кровать, над которой были сооружены еще и деревянные нары, туда вела отвесная лесенка — вроде «шведской стенки».

— Мы вдвоем квартиру снимаем, с подругой.

Музыка, полутьма, полбутылки виски, она — из ванны и в одном халатике — видно, так наши девочки здесь, вдали от родины, на других берегах, устраивают себе выходной.

— Я такое покажу тебе, чего ты никогда не знал, — сказала она, ластясь. От нее пахло шампунем и недавней стиркой. Бесплатная китайская еда выплывала из дымки. Но тут повернулся ключ в замке — и на пороге возникла пара. Он был, без сомнения, пьяный финн, она, видно, товарка моей пассии.

— Он у нее постоянный, денег куча. Но только ты не говори ей, что не платишь, — шепнула мне пейзажка.

Впрочем, на меня никто и внимания не обратил. Финн повалился на кровать, и девушки споро сняли с него пальто, пиджак и ботинки. После чего подружка

скинула платье, оставшись в одних колготах, сквозь которые белели трусики. И повалилась рядом, причем я успел отметить, что у нее нежная маленькая грудь и очень красивые ноги.

— А мы навверх, — сказала моя подруга и скинула халат.

Нары оказались просторными, но расстояние до потолка было не больше, чем на верхней полке железнодорожного купе. Слабый свет едва доставал сюда. Я не сразу понял, что намеревается делать моя партнерша, когда одной рукой она принялась гладить меня, а другой сноровисто сунула что-то себе в рот. Я решил, что это жвачка, и не успел удивиться, когда почувствовал, что она, не помогая себе руками, надевает на меня презерватив. Этот фокус, безусловно, стоил гонорара, как всякое настоящее искусство.

Прошло немало времени, прежде чем она, доверчиво засопев, сунула голову мне подмышку. Было тепло, как в норе, и уютно, как бывает только с чужими и нежными женщинами, которых больше никогда не увидишь...

Я забылся коротким сном и с трудом вспомнил, где нахожусь, когда она меня растолкала. Еще стояли сумерки. Нижний финн продолжал храпеть. Его хрупкая подруга валялась подле него беззвучно, как мертвая. Моя что-то бормотала, торопливо собираясь:

— Сестра приплывает... паромом из Стокгольма... надо встретить...

Вчера, перечисляя родственников, о сестре она упомянуть забыла.

Уже на улице она со смешком сказала:

— А даме на шаль и духи?

Чувствовал я себя неважно. Молча достал пятидесятимарочную бумажку.

— Это все.

Она остановила такси.

— Ты где живешь-то? — И когда я назвал отель: — Садись, подвезу.

В машине она нацарапала на бумажке свой телефон в Ленинградской области, и это тоже было трогательно. И нежно поцеловала, когда мне нужно было вылезать.

— Спасибо, было хорошо, — и уехала.

Коллега уже сидел в номере — не сняв пальто, за столом, на котором стояла пустая бутылка мартини.

— Привет, — сказал он не слишком дружелюбно и клюнул носом. — Что, сэкономил жене на подарки? — он протянул мне мои деньги. — У меня тоже все хорошо. Взяла только сто двадцать, но выпроводила в семь, потому что мама приезжает. Но проводила на улицу и даже купила в баре рюмку текилы. И ленинградский телефон дала.

— С мамой не познакомила?

— Какая мама? — удивился мой коллега. — Сегодня же воскресенье, самый рабочий для них денек... в девять из Стокгольма приходит Silja Line... Финны садятся на паром в пятницу вечером, — продолжал он неразборчиво, свесившись набок со стула, — покупают дешевой выпивки в дьюти-фри, но выдают им бутылки только утром в воскресенье, в Хельсинки, чтоб не успели перепиться и не разнесли корабль. А на причале их

уже ждут наши девочки. И весь день дым коромыслом...

Так вот куда спешила моя подруга. Мне стало жаль ее. В конце концов, она честно отработала свой гонорар, а теперь, чтобы компенсировать финансовый ущерб, не выспавшись, мерзнет на причале в своей кургузой норке. А я ей даже шаль не подарил.

Я откупорил свою бутылку водки, у коллеги нашелся апельсин.

— Тебе хорошо,— сказал он и снова клюнул, — ты женщинам не платишь. А у меня остался только полтинник.

Мне стало стыдно своей скаредности.

— Обед с меня, — заявил я. И налил еще по полбокала.

Он было запротестовал, но мы еще выпили и договорились, что отныне он мой должник, и когда будет в Москве, непременно поведет меня в китайский ресторан. А теперь должен купить хоть что-то по мелочи.

Я уже не слушал его, я подсчитывал, скольким женщинам за свою жизнь я задолжал. Сумма выходила внушительная. Получалось, что я тридцать лет подряд занимался любовью в кредит. Мне представилась нескончаемая вереница девушек, стоящих теперь на холодном берегу и вглядывающихся в даль, — не везут ли им из-за моря, с других берегов, упущенный гонорар.

Милые мои, хоть отчасти вы можете считать себя отомщенными. Потому что мой питерский коллега так и не оплатил должок. То ли не бывал с тех пор в столице, то ли потерял мой телефон. А может, просто разочаровался в китайской кухне.

ФЛОРАНС

Говорят, в Париже не найти бесплатную женщину. Как любое обобщение — и это натяжка, все зависит от везения. Или невезения, как угодно. Один мой знакомый сочинитель опубликовал в «Литературной газете» своего рода путевые заметки после того, как побывал в столице Франции, — ради одной единственной истории. Ему бы промолчать, история его никак не красит, ну да писателей за руку не удержишь. Смысл в том, что на бульваре Бастилии, на которой никакой Бастилии уже два века как нет, зато есть канал, выкопанный Наполеоном, приятель подцепил миленькую француженку лет тридцати, говорившую по-английски и мигом пригласившую его к себе в гости. Не веря своей удаче, дурачок заплатил за такси до Клиши, и был страшно удивлен, когда дверь квартиры открыл сутенер славной крошки и объявил цену, — полторы тысячи франков за час, — показавшуюся соотечественнику несусветной. Российский литератор полагал, должно быть, что если по вторникам туристов в Лувр пускают бесплатно, то и ноги раздвигают лишь за прекрасные славянские глаза.

Глупо, парижанки дорого стоят. И это при том, что совершенно неясно, за что мы в России так воспеваем француженок. В массе своей они довольно бесцветны и совсем не сексуальны. Я в Париже ходил только пешком; был ранний ноябрь, погода отвратительная; в первый же день я отправился в музей д'Орсе, что располагается на левом берегу Сены в бывшем Лионском вокзале, нашел множество картинок, которые знал по репродукциям, — импрессионистов и даже прелестного

грустного Пьеро кисти Ватто,— и на несколько минут почувствовал себя в Париже как дома, обычная иллюзия восторженного путешественника-дебютанта,— Париж — один из самых закрытых и холодных мировых городов, и чтобы его раскусить нужно немало помучиться.

Посетить музей — что православную обедню отстоять, и за этот подвиг я наградил себя неспешной прогулкой; тщательно и с энтузиазмом прочесав весь шестой аррондисман от церкви Сен-Жермен-де-Пре до Люксембургского сада и бульвара Сен-Мишель, выпивая по крошечной рюмке коньяка на всяком углу, тридцать с чем-то граммов, то и дело суя нос в бесчисленные здесь очень дорогие сувенирные и антикварные лавочки, крошечные галереи,— сперва я чуть вздрагивал от неперемного звона колокольчика над каждой входной дверью,— я заглядывал, конечно же, и в лица встречаемых женщин, в лица хозяек этих лавочек, в лица спешащих куда-то стайками парижских тинейджеров женского пола. Физиономии были хмурыми и некрасивыми, фигуры унылыми.

На другой день я предпочел остаться на правом берегу; меня понесло в Булонский лес — по прустовским, так сказать, местам; нашел ворота, пошел по дороге Сюрезн, свернул в лесок, помочился на жасминовый увялый куст, все похоже на любой парк, хоть Филевский,— и никаких одетт; одни лишь господа с несколько изломанными походками, в шарфах, манерно завернутых, один конец вдет в петлю другого, и с породистыми псами на поводках, да старушки в белых перчатках, стерегущие детей, запакованных в чистые кос-

тюмчики. Где-то в этом районе должен был быть и музей Монмортан с Клодом Моне, но, хотя я и сверялся с планом, отсчитывая кварталы от бывшей площади Звезды, все ж таки заплутал, оказался на холодной буржуазной авеню Фош с глухими особняками начала века, на крыше одного из которых был разбит невероятный зимний сад — при ближайшем осмотре это оказалось посольство Марокко; затем попал на авеню Виктора Гюго, продрог, но никак не мог найти хоть бистро, чтобы опрокинуть рюмку кальвадоса и согреться. Наконец, я набрел-таки на маленькое пустое кафе и застал в нем невероятно хорошенькую блондинку-посетительницу лет под тридцать, беседовавшую с пожилой дамой. Наконец-то, возликовал я, наконец-то я увидел действительно красивую француженку; увы, едва я уселся за соседний столик, как расслышал, что говорят дамы польски...

Я художник, так надо представиться, хотя строго говоря — я дизайнер, впрочем, кому в Париже дело до таких тонкостей. В столицу Франции я попал относительно случайно и за чужой счет — таким способом мне оплатили работу по оформлению сельскохозяйственной выставки Прованса, и я, дурак, чем поехать на юг любоваться виноградниками Арля, куда меня звали работодатели, уперся и заставил их отправить меня в Париж, в котором всю жизнь мечтал побывать. Клерк принимавшей фирмы встретил меня в аэропорту «Де Голь», отвез на стареньком «пежо» в дешевую гостиницу недалеко от Лафайетт, — с магазином Тати за углом и множеством арабских торговых точек, как выражаются в России,— заплатил портье за неделю моего проживания,

сунул мне конверт с гонораром, — шесть тысяч франков, недурно, не правда ли,— и был таков. Знакомых у меня в городе не было, так что я оказался целиком предоставлен самому себе, и это ли не чудно.

И все бы ничего, Париж и в дурную погоду обволаживающ, пусть и закрыты на всякие замки железные ящики букинистов по левому берегу, а Сена с идущими по ней в сумерках иллюминированными прогулочными баржами, тонет в сизом влажном тумане. К тому ж пришла пора божоле, и я выпивал по бокалу молодого вина на всяком углу, занимая всегда столик в кафе на уличной веранде, затянутой полиэтиленом, вблизи раскаленных газовых жаровен, торчавших на одной ноге в каждой забегаловке,— особенно в Марэ, вокруг площади Вогезов или на Риволи. Ну да я отвлекся и забежал вперед...

Короче, я был бы на вершине блаженства, когда б не история, в которую я влип на третий день и которая меня несколько озадачила. С утра я вышел из своего отеля и направился лицезреть церковь Мадлен, но меня опять вынесло не туда, на бульвар Клиши, и совершенно неожиданно я узнал из надписи на фасаде одного из домов, что нахожусь на площади Пигаль.

Кто ж в России не знает Пигаль. Впрочем, некому мне было подсказать, что красные фонари давно перенесли на Сен-Дени, так что, заглянув в один-другой секс-шоп, я все удивлялся,— где же, собственно, девочки. Заменяли их унылые порно-кинотеатры, в один из которых я заглянул. В фильме один малый имел сразу двух блондинок, причем сначала пользовал одну в зад, а потом другой кончал в рот. Пахло черным людом и

негритянской спермой. Какой-то смуглый паренек уселся рядом и, я почувствовал, уже приноровился было полезть мне в ширинку. Я вышел на свежий воздух и тут же уткнулся в афишу заведения, предлагавшего «живую любовь». Не было и двенадцати, но дверь оказалась распахнута. Все лучше, чем изношенная киноплёнка. К тому ж цена была весьма умеренная — сорок франков. Не сумев пересилить любопытство, я вошел.

В заведении, конечно, было пусто. Хозяин, атлетический красавец- блондин арийской внешности, говоривший по-английски, обворожительно улыбнулся и пригласил меня в следующее помещение. Он усадил меня за столик в углу, тут же обнаружилась и дама — негритянка лет двадцати пяти, тонкая как бамбук, с довольно правильными на европейский взгляд чертами, хоть и с большой нижней губой, вывернутой так, что видна была сподка цвета лососины. Она присела рядом и заговорила со мной по-свойски, будто мы были много лет соседями по лестничной площадке. Она спросила кто я, чем занимаюсь, когда услышала, что я — *рашн артист*, мило щебетнула *вау*. Я в свою очередь вежливо поинтересовался ее происхождением и семейным положением, она, улыбаясь и сверкая коричневыми глазками, объяснила, что родилась в Камеруне, а в Льеже у нее муж-француз и маленькая дочка, и что она навещает их по выходным. Впрочем, я уж засунул руку ей под юбку, под которой, разумеется, не нашел трусов, и пощекотал указательным пальцем ее сфинктер. Она предложила выпить шампанского, которое тут же появилось, и поинтересовалась, чего бы мне хотелось. Поглядев на ее губы, я сказал, что хотел бы ее рот. Нет ни-

чего проще, заверила она меня, только предложила для начала уладить материальные вопросы с хозяином. Тут-то и поджидала меня мина: ариец объяснил мне, что я уже, еще до похода в камерунский кабинет, задолжал заведению четыре тысячи. Это за бутылку дрянного шипучего пошла и за то, что пощупал негритянскую задницу. Я хотел было возмутиться, но из-за драпировок вышли двое арабов приземистого вида, один при этом шмыгал носом, и оба тарачили непроницаемые, как пустыня, глаза бедуинов. Я вывернул карманы — с собой у меня было чуть больше трех тысяч, и немец забрал все до сентима, даже мелочь, но благородно оставил карточку для проезда в метро. Несколько потрясенный происшедшим я выкатился на улицу и побрел куда глаза глядят, находя, впрочем, приключение пикантным и поучительным, было жаль лишь, что придется проститься с мыслью купить в Париже приличное пальто. Впрочем, я смог-таки обмануть алчного тевтона и сохранил две тысячи в заднем кармане брюк: по какому-то наитию я предусмотрительно отделил их и не положил в портмоне. Вскоре я почувствовал, что иду отчего-то вверх и, сверившись с планом, сообразил, что взбираюсь на холм Монмартра.

Кажется, я говорил уже, что я — художник. И в плохие времена цветными карандашами рисовал портреты провинциалок в подземном переходе под Арбатской площадью. При виде моих монмартских коллег на площади Тертр, я вообразил, что мог бы, — если, конечно, здесь нет такой же как в Москве мафии, — и тут чуть заработать, коли припрет, купить только бумагу и карандаши. В таких раздумьях я уселся за столик уличного

кафе прямо под боком кондитерской, похожей на белый торт, церкви Сакре-Кёр и заказал бокал божоле.

Я потягивал вино, посмеивался над собой и опять ощущал прилив того тихого блаженства, которое охватывает вас в Париже, коли вы не суетитесь, и — тут-то она и объявилась.

Вы, конечно, не поверите, но все было именно так — она сама села за мой столик. Быть может, вам кое-что прояснит описание ее внешности: мягко скажу, она не была юной красавицей. Точнее, ровно наоборот. Было ей, как выразились бы деликатные англичане, «на солнечной стороне пятидесяти». Сказать, что она была высокого роста и худая, значит ввести вас в заблуждение: она была тоща и суха, будто ее извлекли из гербария, с темными кругами под глазами и гуманитарным выражением несколько лошадиного длинного землистого лица. В ее некрасивости было нечто даже артистическое, а ее манера держаться исподволь выдавала принадлежность к богеме и, скорее всего, приверженность марихуане, развлечению как раз ее поколения. Но, что самое удивительное, — она волновала. «Вот он, неуловимый парижский шарм», сказал я себе.

Мы посидели несколько минут молча, она спросила себе кофе, когда чашка была перед ней — мы заговорили. Она почти не знала английского, но — чудо — говорила по-русски, причем весьма прилично. Она сказала: я сразу же поняла, что ты — русский художник. На мой вопрос, что же во мне такого русского, ответила: глаза, плащ, манера носить шарф. Плащ был шведский, шарф — от Диора, но что там говорить, русские глаза не спрячешь и не переделаешь... Оказалось, она некогда

переводила Грабаря для какого-то сумасшедшего французского издателя. Это ли не знак судьбы, ибо согласитесь — в этом есть что-то несусветное: быть ограбленным на Пигаль, а через час болтать по-русски в кафе на Монмартском холме с француженкой, осведомленной в вопросах истории отечественной живописи. К тому ж, как выяснилось, она и сама писала акварели.

Вы уже знаете, звалась она Флоранс, но не была парижанкой, а некогда, в мятежной своей молодости, приехала на берега Сены из французских Альп, она назвала и имя родного городка — Анси, и действительно — в дополнение к длинному черному глухому плащу и вязаному шарфу, на ней была какая-то шапчонка, похожая на тирольскую, из-под которой выбивались пряди крашенных в ярко рыжий цвет жидких волос. Мы довольно быстро выяснили и многое другое: у нее есть друг, которому она не может изменить. Поскольку дала слово быть верной. К тому ж когда-то она любила одного «русского человека», он был сумасшедшим и нежным, — и писателем, разумеется...

Как только женщина любой национальности и расы по собственной инициативе заговаривает с вами о своих былых любовниках и нынешней своей верности — готовьтесь ложиться в постель. Впрочем, в том, что я созрел для такого поворота дела, я еще не был уверен. Прежде другого мне оставались неясны условия, и вам, конечно, понятны мои сомнения. Поэтому для начала я рассказал ей о том, что произошло со мной на Пигаль. Конечно, я опустил некоторые моменты, не стал говорить, куда именно я пытался засунуть указательный палец правой руки, но про финансовый позор повествовал

как на духу. Она очень сочувственно меня выслушала. Она даже всплеснула руками в том месте рассказа, когда я описал, как этот самый скряга-ариец выудил у меня из кармана плаща мелочь. Она заметила, что ни один француз, конечно, не зайдет в такое место, ибо всем известно, как там грабят простодушных посетителей. И что попасться на такую удочку может только турист. Но глаза ее заблестели.

Я предложил ей выпить. «Да-да, я закажу», сказала она. Принесли бутылку божоле и чуть сыра, порезанного кубиками, нежнейшего, к слову. Через полбутылки мы уж были на «ты», а к концу — совсем сдружились. Оказалось, ее Лев Толстой был, конечно же, нищим эмигрантом, и в России она ни единожды не была, — и мы заказали еще бутылку. Она и без того выглядела несколько экстравагантно на общем благопристойном парижском фоне, а тут, видно согревшись, сдернула свою шапочонку, из-под которой показалась странная стрижка — перья дыбом, к тому ж — совсем оранжевые. Она громко смеялась, скаля слишком ровные для ее возраста большие зубы — во всю пасть, и клала мне на руку свою руку, на которой были приметны бледно-бежевые пигментные пятна. Я предложил прогуляться, она согласилась, я позвал гарсона. Едва подали счет, она экспансивно кликнула:

— Нет! Ни за что! Только я, только я...

И принялась энергично копаться в сумочке, выкидывая на стол содержавшиеся там нехитрые вещички.

— Ты так много потерял, — объяснила она, и я не сразу понял, о чем она говорит. Лишь потом сообразил

— Господи, о моем приключении на Пигаль, но она-то отчего должна платить за мою глупость...

Что ж, в этом ее жесте был даже оттенок нежности и материнской заботы, — французской нежности, хотелось думать мне, — хоть старше меня она была от силы лет на десять. Мы встали, и она повлекла меня по монмартскому холму, приговаривая *я покажу тебе нашу деревню*. Мы скоренько миновали толпу туристов и углубились в какие-то кривые проулки. Впрочем, на бегу она скороговоркой упомянула музей Дали, кафе, в котором бездельничал Утрилло, кабаре Лапин Агил, ресторан Дом Роз, а там по аллее с милыми домиками за оградами, увитыми плющом, мы устремились вниз. Я, естественно, понятия не имел, куда она меня тащит, — уж не к себе ли домой, — и пробно обнял ее за плечи, притянул ближе и запустил было руку к ней под плащ. О, не теперь, пропела она, и вдруг остановилась. Не лишенным торжественности жестом она положила мою ладонь себе на грудь. Видишь, ее нет, шепнула она, здесь, справа, ее отрезали. Впрочем, левая грудь у нее тоже была совсем незаметна, так что не велика оказалась потеря, но ее непосредственность несколько обескуражила меня, хорошо хоть она сообщила мне эту свою интимную тайну без пафоса, каковой не преминула бы припустить в таком случае всякая русская. Что ж, это было знаком скрепления любовного договора, и мы продолжали спускаться, хоть становилось все более полого. Не помню как, но, миновав какие-то каменные серые ворота, мы оказались — на кладбище.

Это не было кладбище в нашем привычном смысле слова — возьмите хоть сановное Новодевичье, хоть

плебейское Востряковское. Это было нагромождение склепов и часовен, миниатюрных мавзолеев и обелисков, перевитых стеблями жимолости, белого камня преимущественно, химерический парад архитектурных стилей — от саксонского и романского до мавританского, как будто кто-то специально перемешал культурные слои, накопленные веками, и свалил как попало. Выглядело все это торжественно и жутко. Каждый слеп, каждая могила порознь имела совсем особую физиономию, и каких только деталей здесь было ни рассмотреть: намеки на полукруглые или стрельчатые своды, каменные розетки, какие-то символические сакральные орнаменты, зигзаги и ромбы, гротески из птиц, зверей и растений, арки и колонны, резные фризы и лепные портики, стертые могучие ступени, ведущие в никуда, таблички с надписями — в основном по-латыни, — и гипсовые безмолвные ангелы, скорбно закатывавшие круглые мертвые глаза. Но вместе в этом хаосе чудился некий общий замысел, и мне стало страшно, когда я понял, что передо мной как бы вывернутый наизнанку великий замысел культуры. Священные камни Европы воочию лежали передо мной, но испытывал я не восторг и не благоговейный трепет, но — боль. Никакой памятник Парижа, знакомый по сотням фотографий, не сказал бы мне и сотой доли того, что нашептал этот город мертвых: вам, русским, никогда уж не быть с нами, никогда, никогда...

Показалось, Флоранс тянет меня за рукав, и мне почудилась, что она собирается забраться в один из склепов. У меня мелькнуло воспоминание о виденном некогда эротическом фильме, в котором героиня могла

кончать только на кладбище. Я непроизвольно хотел было вырвать руку, но, оглянувшись, понял, что ее нет.

Я пошел куда глаза глядят. И уже через пару минут спохватился, что непременно заблужусь в этом некрополе без нее, моей провожатой; оглянулся, — нет, ее нигде не было. Пошел было назад, но вскоре совсем заплутал. Я пытался было окликнуть ее, но вовремя сообразил, что не могу же кричать в этом скорбном, торжественном, изнемогающем под грузом собственной последней красоты месте, — к тому же кричать по-русски. Да и что бы я мог крикнуть. Как мне было позвать ее, мою добрую и безумную Флоранс, несбывшуюся мою бесплатную парижскую любовь...

Там, на монмартском кладбище, я потерял ее навсегда, ведь даже номера телефона не догадался у нее спросить. Оставшиеся три дня в Париже были грустны и пусты, мне, как ни глупо, захотелось домой, на свою нищую и грязноватую тоскливо-бесхитростную родину. Я всякий день приходил на Монмартский холм, сидел то в одном, то в другом кафе, много пил, не божоле — крепкое, и по несколько раз на дню возвращался туда, к стенам Сакре-Кер, — но ее и здесь, в сени храма чужой веры, не было.

Перед самым отлетом я заглянул внутрь церкви, но и церковь была пуста. В дешевом киоске я купил крохотное серебряное распятие с крохотной серебряной бляшкой, на которой оттиснута была святая Женевьева, и с маленькими деревянными четками на цепочке. Отглатывая Мартель, купленный во фри-шопе и откупоренный едва взлетел самолет Аэр-Франс, — я перебирал четки в пальцах. И повторял на разные лады:

— Флоранс, Флоранс...

Впрочем, так же звали — во всяком случае, так она представилась, — миленькую стюардессу, с синей попки которой я во весь перелет не сводил глаз.

СМЕРТЬ В ПЕРЕДЕЛКИНО

Зима была мокрая, зябкая, точно с застарелым насморком, словно в Лондоне живем, не в Москве. А весна — томительно поздняя, морозы спали только к апрелю, солнце проклюнулось лишь в конце марта, стали подтаивать сугробы и проснулись еще ленивые мухи. Он умер вечером того же дня, что и Папа Римский, поэтому я запомнил дату; его тело, застывшее за морозную ночь и едва прикрытое коротким брезентом, лежало за магазином до четырех часов дня, под ним скопилось талая лужа. Он не дожил до настоящей солнечной дружной весны с веселой капелью всего сутки, и сердце его остановилось на переломе сезонов. Говорят, это время предпочитают самоубийцы, не находя, должно быть, в себе сил принять участие в очередном весеннем любовном гоне.

Его труп нашел утром магазинный грузчик. Приезжали следователи из милиции, следов насильственной смерти не обнаружили; а из морга никто никак не ехал, и весь день приставленный милиционер отгонял любопытствующих, туда нельзя, там покойник, хотя его ноги в новых черных толстых спортивных ботинках на рифленой подошве были видны даже с дороги. Здесь же была и его мать, ее на своей машине привез тесть покойного; а жены не было, сказала — приедет позже, но так и не приехала.

Я почти не знал его, но всякий раз, когда бывал в Переделкино, он неизменно оказывался постояльцем старого, более дешевого, чем новый, корпуса Дома творчества писателей: с душем в конце коридора, с

комнатками-пеналами, будто раскольниковскими, с запахами пищи, доносящимися снизу, из кухни. Как-то в течение недели мы столовались за одним столом — с ним и с его матерью-литераторшей, которая, должно быть, и пристраивала его сюда. И перешли на ты.

Писателем он, упас его Бог, не был, был музыкантом, сочинял для театра и для радио, и кажется успешно, его мать мне шепнула однажды, что сам Саульский его обнимал. Так что я совсем не удивился, когда и на этот раз, едва выйдя из машины, узнал в конце аллеи его фигуру. Помнится, я еще помахал ему, но он не ответил; наверное, подумал я, не заметил или не узнал. Только подойдя совсем вплотную, уже протянув руку, я понял, что ошибся, это был не он, хотя и рост, и круглое лицо с курносым носом были похожи. Теперь впору задуматься над роковым смыслом этой подмены.

Все следующие дни дежурные тетki в обоих корпусах передавали друг другу подробности — они дежурили одни сутки из четырех, и некоторые еще не знали деталей. Краем уха я слышал: так и лежал... замерз, наверное... сердце не выдержало, так пить... и ведь совсем молодой... По нынешним меркам он, действительно, был еще молод, тридцать семь. А пил вполне умеренно. Впрочем, дежурные говорили, что в тот день они круто запили с каким-то неизвестным мне Волковым. Живет тут с женой, с двумя детьми, дача у них осенью сгорела, сказала администраторша, говорящая басом и всегда жутко накрашенная. И проворчала: да что вы все — Волков, Волков! Он бы и с другим напился... Видно, этот самый погорелец Волков был ее симпатия — она была сорокалетняя еще стройная вдова, цеп-

ко посматривавшая на новых в Доме мужчин, если таковые появлялись.

В тот же день, когда разнеслась весть, я отправился в магазин — впрочем, сигареты действительно кончались. Тело еще не забрали. Продавщица рассказала, что вчера эти двое заходили трижды: один раз, часов в шесть вечера, взяли бутылку коньяка, в два других раза — по бутылке водки, причем первую — ноль семь. Пили здесь же, за магазином, благо для этой цели там установлены пара столиков с лавками — летом здесь ставят мангал и готовят шашлыки. Стыдясь собственного неуместного любопытства, я взглянул на него, но увидел только эти самые новые башмаки, которые он не успел сносить. Из машины Жигули синего цвета вышла мать: вы ведь, кажется, Николай.

Вопреки моим худшим ожиданиям пока мы говорили, она не рыдала. Один только раз взглянула на тело, зажмурилась и страшно вскрикнула. И снова вперилась мне в лицо диковатым застывшим взглядом — лицо у нее уже было испепелено будущим страшным одиночеством. *Он же был хороший мальчик, за что они его так*, твердила она. *Они*, это, по-видимому, был собирательный образ его собутыльников, и я про себя перекрестился, что ни разу с ним не поднял ни рюмки. Но в ее сознании эти *они* то и дело олицетворялись в последнем собутыльнике, том самом Волкове. Я его изпод земли достану, грозила она так убедительно, что и мне сделалось не по себе. По ее словам выходило, что сын недавно получил немалую сумму гонорара, купил новые ботинки на толстой подошве, приехал в Переделкино, заплатил в бухгалтерию за месяц вперед, в тот

же день повстречал этого неведомого Волкова, и они стали увлеченно пропивать оставшееся. Сроком своей путевки, получалось, он не успел воспользоваться. Но пили они не первый день — третий, так выходило. То есть ровно с того дня, когда заехал и я. И ошибся, якобы опознав его в парке, хотя он действительно был уже здесь... Он в последнее время много пил, сказала мать.

— А отчего ж вы отпускали его сюда одного?— глупо спросил я. Сердце у меня ныло, и было муторно, так и тянуло опять скосить глаза на мертвое тело, и было не уместить в голову, что еще сутки назад этот парень дружелюбно улыбался встречным, перебирал в уме мелодии и дышал здешним воздухом, отсчитывая, как и все мы, дни до начала лета.

— Антон говорил — ему душно в Москве... что задыхается... а здесь ему хорошо работается ... на воздухе... говорил, что боится в метро, такие там страшные лица... он добрый был мальчик, талантливый... эту певицу прописал, говорил такая одаренная, пропадет в Воронеже... за что они его так, Николай, скажите... вас ведь Николай зовут,— повторила она. Все, что она говорила отрывисто, было бессвязно, но так мне понятно. Я пробормотал слова соболезнования и ушел, помочь я ничем не мог.

В отличие от персонала, редкий в это время года писательский контингент Дома не проявил к случившемуся никакого явного интереса. Ни красавец-поэт Касым, приехавший на пару дней со своей пассией-китайкой, которая, кажется, была певицей и пела песни на его стихи. Ни беллетрист Юра Петров, сочиняющий здесь уже много месяцев новый роман под назва-

нием *Вундеркинд*, про музыканта, кстати. Ни, наконец, поэт-песенник по трудно запоминаемой и вовсе не произносимой молдавской, что ли, фамилии, некогда основавшей поэтическое движение под эпатажным названием *куртуазный маньеризм*. Все они хорошо знали покойного.

Отчего, думал я, все они предпочли как бы не заметить случившегося? Ведь не только из эгоизма и той глухоты к окружающему миру, какой подчас тяжело страдают почти все сочинители, упоенные собственным воображением. Быть может, дело в том, что смерть эта была так некрасива, как бы недостойна интеллигентного взрослого человека, не талантлива? Но бывает ли красивая смерть где-нибудь, кроме как в романах. Или дело в том, что все они уже в критическом мужском возрасте, когда начинают запоздало хлопотать о здоровье, и каждый примерил эту нелепую смерть на себя? Во всяком случае, шестидесятилетний Петров сказал мне ни к селу ни к городу: знаешь, нужно умереть на коне... Хорошо, не сказал на бабе, с него станется.

Наверное, думал я, в них прорвался страх смерти, который мы упорно загоняем как можно глубже. Потому что с возрастом этот страх нарастает, и не только из-за того, что смерть близится, но потому что в молодости легче умирать. Поэтому они должны были испытывать неприязнь к покойнику, который так бестактно напомнил о бренности бытия. Даже бренности вольного житья в Переделкино. И только постоянная в этом Доме очень старая дама, мать одной чрезвычайно успешной сочинительницы детективов, моей ровесницы, старуха — вдова одного чекистского литературного генерала,

настолько сварливая, что ее дочь предпочитала держать ее здесь, не в дом же престарелых сдавать,— она сказала мне за обедом, жуя фруктовый плов:

— Жаль мальчика... — И добавила: — Мы же в одном доме в Москве живем... — Но теперь было жаль прежде всего его мать, а слово *живем* нужно было сказать в прошедшем времени...

Я попытался представить себе жизнь этого человека, очень доброго и, наверное, судя по ухваткам, недалекого малого, какими чаще всего и бывают лабухи. А он был именно из них, самостоятельно сочинять стал, работая в группе, так и сделался композитором. Судя по реплике о мучительности поездок в метро, пересказанной его матерью, был он парень чувствительный, из тех, кому так трудно дается жизнь на этом свете. Чтобы здесь жить, требуется особая закалка, а чтобы такую закалку получить, нужна даже не сила воли, но некое упорство звериного характера, желание, что называется, выжить любой ценой. Со всем этим дело у Антона обстояло, скорее всего, неважно, хотя упорен он был, днями что-то подбирал на гитаре, записывал, снова подбирал, и эти звуки отдавались в гулком коридоре старого здания, построенного некогда с наивным подражательством русскому ампиру — с колоннами дорического, кажется, происхождения.

Для начала я прикинул, какими могли быть его отрочество и юность. Он родился во второй половине шестидесятых, рос в семидесятые унылые годы. Это была эпоха увядания империи, когда бывшая великая держава, нагонявшая страху на весь мир, стремительно превращалась в дремучую провинцию, а двери еще бы-

ли закрыты, даже евреев перестали выпускать, и до очередных послаблений оставалось полтора десятка лет. Поколение Антона не застало даже отзвуков энергичных шестидесятых, преисполненных благостных надежд, и росло в атмосфере гниения последних идеалов, когда дряхлая власть не знала, что делать, но не имела сил что-нибудь менять. Эта анемичность передалась и молодежи тех лет. Собственно, пресловутый русский рок-н-ролл, какового на свете никогда не было, родился именно в эту межеумочную эпоху, и его дожившие до наших дней представители по-прежнему лабают что-то дряблкое, слова выпевают несусветные, как будто в подворотне, когда нечем занять себя. И, кажется, даже голову не моют, боясь, наверное, с пеной шампуня потерять остатки дворового инфантилизма.

Я попытался представить себе его жену. Отчего-то мне казалось, что она должна быть тоже из провинции, как и неведомая певица, которую он спас из города Воронеж. Я представил себе хорошенькую и нервную простолюдинку, мама которой, однако, играла в областном драматическом театре, а папа был,— и здесь прочерк. Девочку в детстве, освобождая от чистки картофеля, учили музыке и — выйти замуж в столицу, чтобы хоть доченька свет повидала. Но, во-первых, так актрисы о своих дочерях не пекутся, у самой еще жизнь впереди. Во-вторых, концы с концами в этой версии не сходятся и потому, что не мог ведь из Воронежа подоспеть тесть покойного, который привез свою свояченицу на машине в Переделкино. Значит, девочка была московская. Как же они жили? Неважно, скорее всего, она ему часто изменяла, он, чтобы не видеть этого, скрывался в Доме

творчества и пил горькую, брэнча на своей гитаре. А, может быть, напротив, она, бывшая одноклассница, верила в его дар, служила, как могла, стараясь не надоедать, но — надоедала. А он мечтал влюбиться в молоденькую, и чтобы с голосом как колосок...

Но в том-то и дело, что мы, думая о других, руководствуемся схемами, которые к самим себе не прикладываем. Мы упускаем нюансы, делаем скороспелые заключения, причем чаще всего уничижительного характера. Мы упрощаем других, чтобы самим себе казаться лучше и тоньше. Мы себе интереснее. Поэтому зачеркнем написанное, допустим, что жена Антона была, скажем, художницей. Из семьи академической — в артистическом смысле. Пусть не красавицей, но пикантной. С умным взглядом. Брюнетка. Пусть они росли в одном дворе, и он был в нее влюблен с первого класса. В восьмом она обратила не него внимание, но его угораздило ненадолго влюбиться в ее подругу. Поэтому она вышла замуж за другого, но они опять стали встречаться. И в результате воссоединились, но их маленькая дочка была от другого отца...

Отчего он пил, это вопрос пустой. Почти все мужчины в России пьют, мягко сказать, неумеренно, хотя, кажется, нынче это выходит из моды, что косвенно подтверждают сводки правительства, будто жизнь в стране налаживается. Косвенно потому, что, скажем, в соседней Финляндии жизнь давно и прочно налажена, но финны тоже пьют сверх меры. Так что остановимся на версии: холодный климат. Но отчего жена не приехала, когда узнала о его смерти? Ведь, как бы ни складывались отношения, ее должно было бы как вожжей уда-

ритель. Версия: не хотела сталкиваться со свекровью. Еще одна: была глубоко оскорблена, мстительно сказала себе: ага, доигрался, а я что говорила... Но так может себя чувствовать только брошенная и оскорбленная женщина. И здесь всплывает тема доброты, если вспомнить слова его несчастной матери.

Итак, певица из Воронежа, которую он прописал. Во-первых, если вы знакомы с нашим законодательством, то понимаете, что никого вот так, с бухты-баряхты, в Москве прописать нельзя. Как минимум соискательница должна иметь в Москве работу. А еще лучше — мужа. Но Антон был женат, залогом чего служит тесть на машине Жигули, коего я видел своими глазами. Значит, он справил ей в столице какую-то работенку. Пусть так. Но была ли она его любовницей? Скорее всего, нет, иначе мать в такую минуту не стала бы о ней вспоминать. Просто потому, что пристроить в Москве любовницу-провинциалку отнюдь не тот красивый и бескорыстный жест, который вспоминают, стоя над телом покойного сына. Как бы эта самая певичка из Воронежа ни пела, вывод напрашивается один: Антон, что называется, верил в музыку, то есть был идеалистом. Или, не так выпретенно: он не был циником, и с полной серьезностью относился к своему ремеслу. А это, по себе знаю, очень непросто в зрелом возрасте, потому что — сомнения. Вот Юрий Петров — дельный мужчина, он вполне понимает, что — не Толстой. Но и сомнения он поборол, и считает себя большим автором, хотя литературу, как таковую, вовсе не любит. Он как бы выше литературы, которая, он достаточно циничен, есть все-таки полный вздор, каким заниматься могут одни маль-

чишки. А он, взрослый мужчина, не занимается литературой, но — работает, и это разница. А литературой занимается Касым, ему простительно, он поэт, к тому ж китаянка, жаль занята, чертовски пикантна; и потом, Касым вроде бы порхает в небесах, но ухватил же премию в размере цены однокомнатной квартиры в Бирюлево. А, ведь мы знаем, чтобы получать премии витать в облаках недостаточно.

Вернемся к покойнику, он служил искусству.

Я не могу судить о размерах его дарования, но при служении это совершенно второстепенно. Равно, как и видимые успехи, ими пусть гордятся родственники. Нет, здоровое тщеславие, конечно, необходимо, но — как выходной пиджак. Дома, наедине с инструментом, важна только музыка, а если все время думать, как бы заделаться Моцартом, то ни черта не получится и ничего не сочинится. То есть, если мои заключения не далеки от истины, Антон был, что называется, самодостаточно. И значит — счастлив, потому что для счастья нужно так мало: покой и воля, воля и покой. Ну, и немножко денег. И враг здесь может быть только один — чужие, и опасность только одна — вторжение. Возложим на неизвестного нам Волкова этот грех. Сценка видится так: сидит в своем номере, убогости которого он не замечает, поджав ноги как йог, композитор Антон, и вот-вот прольется новый мотивчик, он уж где-то рядом, слышен даже звук тромбона, вступающего после припева в первой части, как раздается стук в дверь: что, дружбан, не выпить ли нам за встречу? От Волкова уже несет пивом и перегаром, а Антон свеж. Он понимает, конечно, что у миляги Волкова кончились карманные деньги — надо

ведь и детей кормить, не говоря о жене. Но ведь он погорелец, а Антон бывал на его даче и однажды даже, перебрав, стыд какой, ночевал на веранде под пледом, не раздеваясь. Он весь вечер играл на пианино и пел, изображая Элвиса, было весело, жена Волкова поцеловала его в щеку, потом еще раз, и ему спьяну даже пригрезилось, что она придет к нему под плед. Что ж, ему все подносили, вот и не заметил, как наклюкался. Так что отказать Волкову — нечего и думать. И вот, я вижу, он спускает ноги с кровати, он зашнуровывает свои новые черные башмаки на толстой рифленой подошве, он делает первый шаг — вы знаете к чему, к последней ноте в партитуре.

Что еще было в его жизни, что я упустил? Юношеское увлечение волейболом, общение с другими музыкантами, затаенная, как у новобрачной, любовь матери, которая так обострилась после ухода отца. Любимый чулан в их квартире на Беговой, где он прятался когда-то от родных и где пылилась школьные нотные альбомы и его первая гитара. И решение купить машину со следующего диска. И маме компьютер. И то, как учил английский по песням Биттлз, бэби, ю кэн драйв май кар. Больше ничего не приходит в голову. Только ангел, что витал подле него, но на минутку отвлекся, только ангел.

Что осталось после него, если не считать новеньких черных ботинок, которые подменили в морге? Два десятка сочиненных мелодий; вдова, которая принялась утешаться еще задолго до его смерти. Несколько любовниц-певиц, он как-то сказал мне ни с того, ни с сего: ты не представляешь, был недавно в Самаре, какие

тембры пропадают. Неутешная стареющая мать, которая после смерти сына бросила идею еще раз выйти замуж. Гитара, даже две гитары. И певичка из Воронежа, потерявшая протекцию и ищущая новую. Что останется после нас, вот о чем имеет смысл задуматься. Кто пойдет за нашим гробом? И какие будут цветы? Впрочем, есть догадка, что в этот момент у нас будут уже совсем другие заботы.

ВРЕМЯ СБОРА АБРИКОСОВЫХ КОСТОЧЕК

Ляля никак не могла определиться в своих желани-ях. Это было томительно, но он привык угождать молодой жене. Ляле было всего сорок, точнее — сорок два, и он старался быть хорошим мужем. Впрочем, похоже, у него не было другого выхода. Уже.

Ляле был нужен дом на озере. Как Чайке. И он купил участок под Чеховым, на берегу брошенного песчаного карьера, заполненного водой. Ляля, экономист по ранней специальности, сказала, что будет вставать с рассветом и писать акварелью туман над спящей водой. Выходило, она полагала, вода будет спать дольше, чем она сама.

Он начал строительство нового, большого и светлого, дома. Денег не хватало. Он решил продать старую родительскую дачу в Валентиновке, после смерти старшего брата Саша остался единственным наследником. И Ляля одобрила. Но потом сказала, что это неправильно, дача должна остаться Вареньке. И на лето ее нужно сдать, а осенью сделать пристройку, чтобы восстановить веранду, половину которой покойный Славик отгородил, устроил там кухню и поставил этот газовый прибор. Ляля не могла запомнить, как прибор называется, УВД, что ли. АГВ, поправил муж.

— Все равно,— сказала Ляля.

Он много работал, хотя ему было уже за шестьдесят, но работа шла ему на пользу: всегда в движении, в общении, в делах. Он, в прошлом журналист на радио, теперь служил пресс-секретарем большого банка, часто ездил за границу, а Ляля была его четвертая жена. От

второй у Саши имелся взрослый сын, которого он редко видел. Вареньке же только исполнилось шесть лет, и он впервые нежно полюбил своего ребенка, глаза папины. И жизнь в который раз только начиналась.

В тот год весна припозднилась; он приехал в Валентиновку в конце мая — сирень еще не цвела, хотя в Чехове уже распустилась. Что ж, там — юг, здесь — север. Когда отворил калитку, запертую кое-как, ржавым гнутым прутком, увидел знакомый с детства темный бревенчатый сруб. Вместе с ностальгией вернулось и забытое чувство обиды на брата. Оставить калитку вот так, незапертой, мог только Слава, с раздражением подумал он, забыв, что брат умер два года назад. И последним на даче был он сам.

В последние годы жизни брата Саша с ним почти не виделся. После смерти матери, которая жила на даче безвыездно, Слава, никогда не бывший женат и за матерью присматривавший, столкнувшись как-то в воскресенье с младшим братом, сказал:

— Давай, Александр, сделаем так: если едешь к матери, то звонишь мне. И я поеду в другой раз.

То есть, говоря иными словами, он не только не хотел видеть брата, но фактически попросил на дачу не приезжать. На родительскую дачу, на которой они оба выросли. В общем-то, это не было неожиданностью: отношения у них всегда были скверными. С отрочества. Славик, старше на три года, Сашу никогда не защищал. И наказывали всегда его, Сашу, что было справедливо, но обидно: Славик рос угрюмым замкнутым парнем, а Саша подвижным, проказливым. Отец больше любил Славку — за серьезность, мать — младшего. Но все рав-

но семья Больших была хорошая семья... Он думал об этом, открывая замки.

И войдя, удивился, какая маленькая была у них дача. Внизу — две темных смежных комнаты и веранда. И наверху мансарда. Но все как-то помещались, прежде людям было нужно меньше места: у родителей была спальня, мальчики — наверху, завтракали и обедали на веранде, ужинали в гостиной. Но сколько же забытых вещей, ненужного теперь никому старья и хлама... Прямо посередине гостиной, перегораживая комнату, стоял новый ярко-зеленый раскладной диван. Даже это Слава не доделал: привез из Москвы, а поставить на место старого и продавленного не успел. Саша потер привычным движением грудь слева, присел на этот самый диван, ему захотелось курить. Он бы и закурил, когда б были сигареты, но сигарет у него не было, потому что он бросил курить пять лет назад, когда родилась Варенька.

— Да это и не современно,— говорила Ляля. — За границей теперь никто не курит.

Две комнаты внизу всегда были мрачноваты. Отец хотел большие бревна сруба закрыть светлыми панелями, но мать не позволила: стены должны дышать. Теперь вот никто из его семьи, кроме него, Саши, не дышит, а стены продолжают. И долго ли ему осталось. Славик умер в шестьдесят три. И сегодня Саше год до этого срока. Хотя, конечно, он брата переживет, уже пережил. Еще раз поискал глазами, не остался ли в пепельнице окурочек, Слава ведь курил. Но нет, пепельницы были чисто вымыты. На столе стояла лишь ваза на хрустальной ноге. И маленькая фарфоровая статуэтка. Она

изображала пляшущего вприсядку казачка в белой черкеске, в голубой поддевке, в папахе с оранжевым верхом и коричневых сапогах. Казачок держался на трех точках: на каблуке вытянутой правой ноги, на левой ступне и на откинувшемся в плясе крае черкески, касающейся пола. Голова казачка, к затылку которой он залихватски прикладывал правую ладонь, была приклеена казеиновым, наверное, клеем, и на месте усекования клей проступил, образовал неряшливый коричневый воротничок.

Голову казачку некогда оторвал Саша. Не нарочно. И получил от отца увесистый подзатыльник еще до выяснения, кто именно из братьев казака обезглавил. Наказав младшего, отец спросил Славку, кто набедокурил. Не знаю, не видел, правдиво ответил тот, по существу наябедничал, Саше и сейчас было неприятно это воспоминание. Он взял статуэтку в руки, повертел, обнаружил, что правая ступня у казачка больше левой. Странно, никто никогда на это внимания не обращал. И глаза китайчонка...

По стопам отца-строителя ни один из сыновей не пошел. Слава год готовился к институту, отслужил в армии, там два года самостоятельно улучшал свой английский и поступил в МГИМО. Саша в армии не служил, потому что после школы сразу же попал в университет на факультет журналистики, где была военная кафедра. Получилось, что он догнал брата: оба оказались студентами одного курса, хоть и в разных заведениях. Пока Славик учил испанский и португальский, Саша сидел с девицами на Горького в коктейль-холле, и оказалось, что к концу обучения у него куда больше связей и по-

лезных знакомств, чем у старшего брата. И именно он познакомил Славу с той девушкой, у которой отец занимал солидный пост в МИДе. Девица потом вышла за другого, но ее отец взял Славика в свой департамент. И уже через год после получения диплома Славик, хоть и был не женат, уехал в Лиссабон по молодежной линии. А Саша оказался в музыкальной редакции радиостанции *Юность*, где и продолжал выпивать, не закусывая. А потом женился...

Он покосился на дверь родительской спальни, где долгие годы, оставшись вдовой, среди старомодных вещей и безделушек обреталась его матушка в облаках Красной Москвы. Отец умер, когда братья были студентами последнего курса. Большую квартиру на Фрунзенской, окнами на колесо обозрения, полученную отцом еще в пятидесятые, разменяли: Славик с матерью отправился в трехкомнатную на Войковскую, а Саша в крохотную двухкомнатную, но на Малую Грузинскую. Он редко теперь бывал на даче, так, летом иногда приезжал с компанией на шашлыки. Мать в таких случаях из своей комнаты не появлялась, не хотела мешать молодежи. К старости она вспомнила о своей польско-литовской крови, если выходила из комнаты, то в перчатках и шляпке, в туфлях на каблучке, для которых имелись специальные накаблучные галоши фирмы *Красный богатырь*.

Саша размяк, забыл — зачем приехал. В нише черного буфета лежала забытая книга. Это оказался Справочник пчеловода, заложенный отрывком странички из отрывного календаря. Раскрыл, прочел в местностях со сравнительно поздним взятком с целью предупрежде-

ния роения и повышения медосбора можно формировать отводок на плодных маток... Прочел и календарный отрывок. На одной стороне была изображена компания аборигенов, один из которых сидел спиной и держал на коленях баян. И подпись Агитбригада. Амур. На другой уцелели две последние строки стихотворения Д. Кугульдинова, переведенные с калмыцкого:

*Грядущее свое читают ясно...
Смотри, как люди на земле сильны!*

И здесь же, внизу, под названием Некоторые русские имена, перечень: Аглая, Агнесса, Адриан, Аким, Акси́нья, Александр, Алевтина, Анатолий, Ангелина, Ариадна... И в этом советский календарь врал — имена были преимущественно иностранные.

К старости отец сделался фантазером и мечтал о побеге. Когда он поменял *Победу* на *Волгу*, а на дачу провели магистральный газ, он понял, наверное, что это — его предел, выше начальника треста он уже не поднимется. Теперь он любил говорить о том, как выйдет на пенсию и купит ульи на Алтае. И станет жить на пасеке. *Как Рудый Панько*, острил Саша, но отец Гоголя не читал. И до пенсии не дожил. Разговоры эти велись на шутиливой ноте, но вот ведь, оказывается, и Справочник пчеловода в доме имелся. Не Слава же его читал. Тот читал про Рузвельта и Гопкинса, воспоминания Кони и Витте, Клаузевица *О войне* или листал яркую энциклопедию мира на португальском языке. Он был чудак и тоже мечтатель, и Саша подумал, что он все-таки любил своего нелюбимого брата, и теперь и его ему тоже не хватает.

Он поднялся на ноги, скинул плащ и решил, что поднимется к Славке *на верхотуру*, как говорила когда-то мать. По шаткой лестнице о двух пролетах он полз, хватаясь руками за стальные трубы отопления, едва протискиваясь: не смотря на теннис, после рождения Вареньки он раздобрел.

В мансарде было чисто и светло, стены отделаны палевого цвета фанерой. Аккуратно заправлена кровать, стоявшая в углу, наверху лежало светло-коричневое верблюжье одеяло. Саша прикинул, что одеяло неплохо бы забрать, но пусть это сделает Ляля. В прошлый свой набег она уже слямзила кисейное покрывало с материнской кровати, кузнецовскую супницу от перебитого наполовину сервиза на двенадцать персон и бабушкин фанерный сундук, который не желал выходить в дверь, предпочтя полет из окна на неопрятную клумбу флоксов-долгожителей. Когда Саша поднимал этот самый сундук на высоту подоконника, у него прихватило спину, но Ляле он об этом не сказал. Как и не сказал, боясь показаться молодой жене сентиментальным, о том, насколько ему больно видеть это разорение родительского гнезда. Особенно неприятно было, когда Ляля, вдруг нырнув, извлекла из-под материнской кровати большую черного дерматина коробку с застежкой, открыла и брезгливо, двумя пальцами стала вынимать слежавшиеся шляпки: розовую парусиновую летнюю, темно-синюю с искусственными перьями, соломенную зеленую, — и два пера страуса по одиночке.

— Ваша матушка было модницей, — сказала Ляля с идиотской высокомерной иронией.

Впервые за их совместную жизнь ему захотелось ее ударить.

Теперь он сидел в кресле у шаткого рабочего стола старшего брата и рассматривал старый письменный прибор, которым наверняка никто никогда не пользовался: массивная мраморная доска, две толстеного стекла квадратные чернильницы с бронзовыми крышками, мраморное же пресс-папье. На журнальном столике справа уснул красного цвета будильник, и к разочарованию Саши завести его оказалось невозможно, механику заело. Зато кнопка на основании торшера, с желтой бородатой головой, мягко подалась, и зажегся свет. Тут на глаза ему попала картонная коробочка, он неловко открыл ее, и на пол посыпались, скача по крашеным доскам, сухие абрикосовые косточки. Какой ты, Шура, неловкий, послышался ему голос брата, сейчас он назвал его детским именем. Тогда, в детстве, они соревновались при подначивании матери, кто больше наберет таких косточек, чтобы потом колотить по ним, положенным на табуретку, молотком с целью извлечения белых ядрышек: соревнование это поощряло поедание мальчишками компота из сухофруктов. Саша сразу же разбивал и съедал свою коллекцию, а вот у Славы детские эти косточки сохранились и после смерти. Кто знает, быть может, открывая заветную коробочку, иногда он тоже думал о младшем брате. И Саше стало ясно отчего-то, что брат его был, скорее всего, счастлив. Счастливее его самого во всяком случае. Много лет сожительствовал с коллегой-переводчицей, Ирочкой Тетерниковой, не красавицей, но милой умницей, но не же-

нился на ней, даже на дачу не привозил, но все равно она его любила.

Саша так не умел. Женился на любовницах, с которыми никогда не говорил о любви. И не успокаивался на достигнутом, стремился, потому что боялся, что, коли все желания сбудутся, и не о чем станет мечтать, начнется старость. А Славик вот устроился в своей мансарде, хранил абрикосовые косточки, собирал подшивку National Geographic, — на полке стоял комплект за 1979 год, — ухаживал за матерью, которая к старости тоже его полюбила, баловал свою Ирочку заграничными подарками. И Саша понял, что завидует брату. И ему вдруг тоже захотелось бежать. Ну, не на пасеку, нет. Быть может, на Атлантику в Биариц. Или в Барселону, о которой с большим жаром рассказывал брат. Или в Китай. Вон из банка, подальше от Ляли с ее сундуком. Только Вареньки жалко.

Но что он мог сейчас сделать: опять потерять грудь слева, собрать, тяжело нагнувшись, с пола те косточки, что не закатились под мебель, и улечься на верблюжье одеяло на кровать брата — прямо в ботинках. На тумбочке мостился том Бунина, «Жизнь Арсеньева», он был заложен на трети от начала. Саша вынул закладку, это было извещение: *Уважаемый товарищ Больших Александр Николаевич Напоминаем Вам, что воскресенье 20 июня 1982 года — день выборов в местные Советы народных депутатов РСФСР и народных судей...Призываем Вас выполнить свой гражданский долг...* Ближе к вечеру Ляля позвонила мужу на мобильный, но ей никто не ответил. В саду расцветала, наконец, сирень. И, с приклеенной головой, на столе в

гостиной фарфоровый казачок плясал вприсядку, под-
боченясь.

ПРОЦЕДУРЫ ДО И ПОСЛЕ

Едва Гуревич занял свой номер из двух комнат, как тот ему очень понравился. Гуревич проверил полотенца в ванной, их было достаточно, чистых и белых. Имелись бумажные салфетки в цветок, непочатый рулончик туалетной бумаги. Включил и выключил фен, испытал вытяжку для удаления дурного запаха. В спальне две кровати, тесно сближенные, были крахмально заправлены, на тумбочке лампа, удобно. Вторая розетка была по другую сторону, воткнул в нее зарядное устройство телефона, который жена подарила ему на день рождения. В гостиной имелся сервант, там чайный сервиз, тарелки, рюмки, стаканчики. Здесь же, на виду, электрический чайник, телевизор, холодильник. Не обманули, словом: три звезды, полулюкс. И Гуревич стал спокоен за удобство его грядущего двухнедельного одиночества.

Гуревич вышел на балкон — море было справа, от него шел свежий немецкий воздух, и виден был горизонт, воображаемая линия. Глубоко внизу под балконом росли кое-какие деревья, сосны, наверное, точно сосны, и кустарники, последние уже с листочками, хоть был еще апрель. Захотелось есть. По расчетам Гуревича, близилось время ужина, семь вечера. Часов Гуревич принципиально не носил. Часов и галстуков, не хотел выглядеть как *менеджер*, если использовать язык нынешней молодежи. Гуревич забыл, что время отражено в его новом телефоне, не привык еще, по старинке вышел в коридор, спросить у кого-нибудь, сколько времени, там было пусто. Он подумал, что настенные часы должны находиться в холле, откуда осуществлялись посадки

в лифт, но и там часов не было. По лестнице, легко дыша, поднималась завитая старуха в алом спортивном костюме с белыми лампасами, поддельный *Адидас*. На вежливый вопрос Гуревича отвечала весело *часов не имею*.

Поужинать все-таки удалось. Администратор, дежурно вежливая женщина средних лет, крашенная в лиловый цвет, в золотых перстнях, кольцах, серьгах, с золотой цепочкой на шее, с серебряным монисто на высокой груди и в белом халате, повела Гуревича в дальний угол зала номер семь, поскольку у него оказалась диета номер пять, усадила к окну. За столом, судя по сервировке, должно было сидеть еще два человека. Дамы, может быть. Гуревич съел уже тефтели с рисом, творожную запеканку с изюмом, запил чаем. Дамская поджарка свиная остыла, но дамы все не шли. Быть может, так, супружеская пара, но и супруги не появились.

Гуревич ждать не стал. Вертя в руке апельсин, который дали на десерт, на выходе из столовой спросил у крашеной администратора, проводят ли у них в санатории конкурсы красоты. Нет, отвечала та, удивившись. Жаль, вы заняли бы первое место. Администратор смутилась, улыбнулась, взглянула на Гуревича разборчивее. Объяснила, где находится бар, работает с девяти.

В вестибюле часы были, показывали без двадцати восемь. Довольный ужином и своей удачной шуткой, Гуревич решил, что сегодня гулять не пойдет: поднимется в номер, поменяет пиджак, включит телевизор и выпьет коньяка. Потом посетит бар, и ночью будет хорошо спать. Так он в точности и поступил. По телевизо-

ру на пятом канале показывал Петербург. Пиджак почти не помялся. Московский коньяк дрянь, все-таки. Закусил апельсином. Думал не торопиться, но все равно в бар, вход в который был из зала с игровыми автоматами, пришел первым. Спросил коньяка, ему предложили Старый Кенигсберг, не стал кочевряжиться, оказалось — не напрасно, коньяк был лучше столичного. Сообразил, отчего так пусто — здесь вечерами проходила дискотека, и дамы жеманились приходить первыми, поджидали за углом, пока кто-нибудь опередит. Сегодня первым был Гуревич.

Он уселся за столик рядом с баром, на балконе, в полутьме. Заиграла музыка, по гляцевому танцполу побежали разноцветные блики, танцорки накопились, стали приплясывать. Гуревич смотрел на них сверху вниз — на невесть откуда взявшихся в санатории молодых девиц в штанах и кофточках. Многие были блондинками, Гуревич не знал натуральными или крашенными, некоторые беременны. Гуревич не сразу сообразил, что из динамиков раздается музыка его юности. И девушки одеты точно так, как когда-то, в кофточки и штаны. Но это были, конечно, не те девушки, а дочери тех. Жизнь идет, а музыка та же. Наверное, и под кофточками у девиц было все то же: те же лифчики, те же застежки, та же вялая плоть. И в этом постоянстве жизни не было дурного, одна устойчивость. На площадке появились и старухи, старше Гуревича лет на двадцать, бабушки девушек. Они тоже были в штанах и кофтах, плясали в кружок, охая. Мужчин-танцоров видно не было. Гуревич отправился.

Он смирился, что заснет не сразу, новое место. Кроме того, взволновал случай в коридоре: соседнюю дверь номер двадцать два отмыкала дама на тонких английских ножках, вспомнил Гуревич Гоголя. Она задорно взглянула на Гуревича, который не мог попасть ключом в отверстие номера двадцать четыре, сказала: сосед, а не заглянете, эти мужчины... Гуревич попал, повернул, вошел, глотнул еще коньяка, выглянул наружу из окна — море было на месте, решил воспользоваться приглашением. Вышел в коридор, постучал в соседний номер, из-за двери донесся смех: а вы уже опоздали, ха-ха, я уж замуж вышла. Что ж, Гуревич понимал юмор, умел ценить хорошую шутку. Едва улегся, зазвонил телефон. Голос жены спросил с тревожной иронией *уже гуляешь*. Гуревичу это не понравилось, но виду не подал. Как это понять *гуляешь*, знает же, что у него астенический синдром и вегетативная дистония, работает за троих. После спокойной ночи подумал, что в последние годы жена поглупела. Или всегда была недалекой, а он не замечал.

Утром под дверью нашел бумажку, велевшую явиться на первый этаж в кабинет номер два к лечащему врачу, фамилия неразборчива, восемь пятнадцать. Прочел время в телефоне, было как раз, спустился на лифте. Врач старенькая, Анна Сергеевна, глуховата. На что жалуетесь, да вот, то да се, кружится голова, давление, астеническая дистония. На вопрос, чем болел в детстве, Гуревич припомнил, что в студенческие годы был у него гастрит. Врач что-то написала на бумажке и отправила к дежурной сестре, тут же, через стенку. Сестра выписала санаторно-курортную книжку. Гуревич

раскрыл, когда вышел за дверь, на первой странице было написано крупно *гастрит*. Гуревич и к этому отнесся с грустным юмором, что ж, прогулки на свежем морском воздухе сами сделают свое дело, смиренно решил он.

За завтраком объявились и соседи по столу: действительно две дамы, одна с собачкой, выглядывавшей из сумки. Гуревич не был, конечно, собаковедом, но породу определил — это был шпиц. Вот только странной масти, лиловой, как администраторша. Гуревич присмотрелся, пришел к выводу, что одна дама, по правую руку, побойчее, а слева, со шпицем, позагадочнее, с туповато-завлекательной улыбкой. Обе крепкие, лет тридцати шести-семи, груди затянуты, плечи шире бедер, загривки, наверняка с фиолетовым каким-нибудь педикюром, бывалые. Это было скучновато. Как зовут песика, поинтересовался Гуревич с притворной ленивой галантностью. Чанг. Ну, не Бунина же они читали, это в честь того, из Голливуда, угадал Гуревич. Ага. Разговорились. Гуревич сознался, что из Москвы, но утаил, что в Москве у него две квартиры, однако его столичность видимого впечатления не произвела. Дамы представились тутошними, из Черняховска, мы сюда на процедуры по два раза в год приезжаем, а вы кем работаете? Гуревич уклончиво сказался инженером по образованию, все прочее говорить было не обязательно. Свои места работы дамы тоже назвали неразборчиво, и Гуревич вообразил — одна хозяйка автобазы, под ее началом сотня дальнобойщиков, другая имеет строительную фирму по спекуляции сборными домиками, дес яток прорабов, все с усами, полсотни мастеров, коттеджи

под ключ. Так или иначе, по повадке — начальницы мелкого пошиба, из деревни во втором поколении, начинали челночницами, он хорошо знал этот тип, никогда не брал на работу. Обратил внимание, что обручальных колец на дамах не было. Что ж, он сам тоже никогда не носил, потому, согласитесь, глупо.

— Что ж, тогда с вас шоколадка, — хохотнула бойкая, бросая салфетку. Тупая загадочно улыбалась, перебирая уши пса.

Почему тогда? Гуревич присмотрелся пристальнее: ухоженная, нагловатая, скорее всего, и муж — руководитель, начальник, там, колонны. А может быть — мужа вовсе нет, разведенная, привыкла командовать.

— Коньяк и шоколадка, — благосклонно поправил Гуревич, чтобы перехватить инициативу и чтобы не стало окончательно скучно.

Дамы переглянулись, ответ им понравился. По выходе со столовой, как выражались его новые знакомые — по аналогии со скалы, что ли — в санаторном магазинчике Гуревич купил бутылку Старого Кинегсберга, отдал бойкой. Да мы пошутили, но взяли. Время до обеда Гуревич потратил не зря: обошел корпус вокруг, обнаружил котельную с тыла, рядом нерусской опрятности коттеджи. К морю вела ухоженная дорожка. Утыкалась в обрыв. Оказалось, море — головокружительно внизу, ползти к нему по лестнице семьсот ступенек, объяснили позже бывалые люди. Гуревич отложил спуск на после акклиматизации, но общим аккуратным благочинием был удовлетворен: даже в питательном морском ветерке было что-то пунктуальное. За обедом опять дамы, где же Чанг?

— Прилег в номере, слишком много впечатлений, — ответила загадочная совсем по-интеллигентски. Гуревич не знал, юмор ли это, на всякий случай посмеялся. Бойкая знала официантку по имени, явились стаканчики, высунулась из сумки давешняя бутылка, Гуревич мысленно одобрил эту сметливость, за знакомство — за знакомство, бойкая сразу махнула свои пятьдесят, загадочная жеманно пригубила. Застучали ложки. Та или эта, эта или та, соображал Гуревич по привычке, обе были не слишком хороши, и одна другой стоила. Зато за одним столом, удобно. И решил рассказать свой анекдот, как вместо диагноза, что привел его сюда, ему прописали гастрит. А вы доктору пятьсот рублей дали? взволновалась бойкая. Я хотел было жаловаться главному врачу. Загадочная протянула сладкие губы трубочкой: тогда тысяча. И Гуревич, что редко с ним бывало, почувствовал себя неуклюжим: эти дамы из провинции крепко укоренились в жизни, лучше него знали законы здешнего существования, уверенно дышали в санаторной атмосфере, несколько искусственной на его, Гуревича, вкус.

Вечером пошли в бар втроем. Гуревич угощал. Он по очереди протанцевал с каждой томный танец, каждую легко прихватывая за зад, помнил завет Казановы, что, если уж оказался с двумя дамами, не торопись выбирать, ухаживай за обеими. От быстрых прыжков Гуревич, впрочем, уклонился, вегетативная недостаточность.

— Тогда сумочку посторожите, — сказала загадочная, и обе пошли плясать в кружок с другими. Что ж, они воспитывались в глубинке, родители из деревни, привыкли по клубам... Так-то оно так, но дамы не испы-

тывали никакого стеснения от собственной провинциальности, ухватисто скакали по танцевальному полу, с кабаньей грацией и силой мчали по жизни. И ведь вряд ли были богаты, нет, тут другое.

Дня через три Гуревич с удивлением обнаружил, что дело не движется, а ведь он привык нравиться женщинам — быть может, одна другую стесняется, из одного ведь поселка. Он уж оглядывался вокруг, не найдется ли чего-нибудь попикантнее, близкого круга, из волонтерок любви с высшим гуманитарным образованием. Но нет, даже те, кто помоложе, сосредоточены на прописанных процедурах, а некоторые и вовсе были с мужьями. У тех же, что постарше, жуткие откляченные зады, студенистые ляжки, выкаченные животы туго обтянуты джинсами — поддельный Левис, на ногах жуткие кроссовки, делающие легкий обвод дамской ступни следом слоновьей лапы мужского размера. И на всех лицах та сосредоточенность, с какой ждут приема в кабинет врача, а ведь выглядят вполне здоровыми. Как-то в очереди на процедуру рядом с Гуревичем уселась пожилая цыганка с лицом потасканного евнуха, сказала с самозабвением я ведь только что из больницы. Ночью никак не мог устроить ноги: зажимал одеяло между колен, потом выпрастывал кончик левой ноги на холодок, потом переворачивался и прятал, высовывал правую. Сначала сладкая дрожь пробегала по телу, потом нога зябла. За завтраком Гуревич соврал, что сегодня у него день рождения, хотя родился он две недели назад.

Решили пойти съесть свежей рыбы. Ресторан подсказала бойкая: в центре города у мола, рядом с отелем Гранд-Палас, брусчатка на мостовой сложена не по-

русски, веером. Лиловые скатерти, такие же свечи, вино на выбор красное и белое, спросили белого. Пока в ресторане накрывали и выполняли заказ, решили пройтись по молу. Нагнувшись к тихой, почти недвижимой воде, Гуревич обронил в воду свои очки. Очки были дорогие, гибкие, утонули не сразу, но для начала сделали в мутной воде несколько па.

Перед трапезой обе преподнесли ему милые подарки: одна зажигалку, отделанную янтарем, другая такой же брелок для ключей, и где успели купить. Растроганный Гуревич даже несколько устыдился своего розыгрыша. Но сознаться духа не хватило, зато сделался щедр, предупредителен, говорил тост за дамскую дружбу, пытался беседовать о кино. Назвал фильм такого-то, они не видели. Пересказал содержание, ой, да знаем мы, просто режиссеров не запоминаем. На десерт потребовали арбуз, Гуревич заказал, себе — кофе с коньяком. Сидел и смотрел подслеповато, как смачно они управлялись с арбузными ломтями, сплевывали косточки. Та или эта, эта или та. А, все равно, устало подумал Гуревич, понимая, что никакого любовного приключения здесь не будет, и он их не интересуется, равно как и они его. Боже, еще неделя жизни в этом тоскливом санатории на волшебном обрыве, как исчезнет, растает, испарится прозрачный эротический флер, что скрашивает существование не совсем еще старого господина в этом грустном мире.

Вечером опять были в баре, Гуревич напился. Он крайне редко бывал пьян, мог выпить очень много, умел пить. Но сегодня напился на правах самозванного именинника. Сидя между двумя дамами и блажено

улыбаясь, он вдруг со страхом увидел рядом с собою две жуткие хари. Это были, несомненно, те же дамы, но лица их исказились и напоминали хищные свиные рыла с зубами, как у вампиров в кино. Гуревич понял, что на мгновение прозрел их тайный оскал, их сокровенную сущность, и испугался. Это было секундное наваждение, и вот уже перед ним те же неюные дамские раскрашенные смеющиеся лица, но видение было столь несомненно, что Гуревичу захотелось перекреститься, испуг не проходил. Неудержимо тянуло сбежать. Когда его спутницы в очередной раз отправились отплясывать, Гуревич бочком выполз из бара, и, задев плечами косяки, добрался до номера. Он упал на кровать, задыхаясь, тут же заснул. Ему приснилось, что он служит под началом той, бойкой, и она все время дает ему непонятные задания, и все время недовольна им: не так, не так, вы же мужчина, возьмите себя в руки... Гуревич очнулся, сел на постели, глотая воздух, как после кошмара, выпутался из пиджака. Мельком подумал, что надо бы измерить давление — пульс был учащенным. Ему стало одиноко, потому что представилось, что он скоро умрет. Он набрал номер жены. Она, наверное, спала, долго не брала трубку, сказала хрипло: алло. Она стала много курить, подумал Гуревич, и ему стало ее жалко. Алле, передразнил он ее так, как делал только в минуты нежности. Она дышала в трубку и молчала, так как плакала. А потом повторила за ним алле, их общий пароль. И обоим стало ясно, что до конца еще далеко-далеко.

СОСНОВЫЙ САД

Тем летом мы нанимали дачку, стоявшую в сосновом лесу. В мансарде, похожей на башенку, я устроил кабинет, благо здесь обнаружился старый дубовый письменный стол и книжная полка с собранием Конан Дойла и Анной Карениной в двух томах. За столом, по словам хозяйки, кто только не сживал, сочиняя романы и диссертации. Что ж, комната была светлая, окнами на две стороны, и в окнах стояли сосны. По ночам высоко построенная мансарда дрожала и покачивалась от тяжелого хода скорых поездов, проходивших рядом по Казанской железной дороге. И дрожала и покачивалась кровать, будто я был не на летней даче, а ехал в купе на верхней полке.

Сосновый бор скрывал от глаз основной, большой дом, в котором жила хозяйка, старенькая английская переводчица, настоявшая, чтобы я обращался к ней по имени, без отчества. Днями она, подслеповатая, звала своего кота Рыжий, Рыжий, в то время как кот сидел у нее за спиной, пристроившись на перилах веранды. Размер участка был по нынешним временам велик, сорок соток: когда-то, в сталинские времена заслуженным людям давали много земли, тогда как сейчас дают мало или вообще не дают. Хотя земли в России меньше не стало, а в пересчете на душу так стало даже больше в связи с убылью населения. Но и заслуженных людей стало меньше, тоже правда. Хозяева, в разных поколениях врачи, адвокаты, инженеры, переводчики, профессора называли свой участок садом, но ничего никогда не вскапывали и не сажали. Росли только кусты жасми-

на у веранды старого дома, той, что смотрела в сторону ворот, впрочем, ни ворот, ни калитки за соснами и жасмином видно не было, да пожилой куст персидской сирени.

Семейство хозяйки как-то повывелось. Она рассказывала, и выходило совсем как у Чехова: шесть лет назад умер отец, через месяц утонул в реке брат Гриша, мама не перенесла, ушла без оглядки. Что-то в этом роде: умер старый муж хозяйки, умерла от скоротечного рака младшая дочь-художница, ее сын уехал в Германию, в довершение на восьмом году окошел английский бульдог Панч, и они остались вдвоем — мать и старшая дочь, у которой, впрочем, был сын-программист от какого-то безвестного раннего друга-геолога. Но этот бастард редко показывался то ли потому, что его германского кузена старуха больше любила, то ли гулять по Интернету для него было соблазнительнее, чем плутать в бабкиных соснах.

С высоты моей башенки был виден и соседский участок, тоже большой, отделенный от нас лишь прозрачным забором. Но там не было сосен. Это было непонятно, сосновый бор не мог вдруг обрываться, и не могли прерываться без прихоти человека воздушные беличьи пути, — скорее всего, сосны были срублены. И образовалась большая травяная лужайка с одуванчиками, какие наши нувориши предпочитают именовать английским газоном: в конце концов, бывает же армянский коньяк или советское шампанское, отчего не быть и русскому английскому газону. Самого хозяина никогда нигде видно не было, как и никаких других обитателей. Лишь изредка говорил за забором по-украински

грубый женский голос, громко, будто его обладательница торговала на рынке; или возникала у забора белая соседская хаски с круглыми оловянными, ледяными глазами, но никогда не лаяла; да громко и заполошно, будто на него наступили, кричал вдруг посреди дня невидимый петух.

Я навел у хозяйки справки. Сосед Ефрем Вениаминович, родом из Одессы, шестидесяти восьми лет, в прошлой своей жизни — военный интендант, участвовал в этом качестве в афганской компании. Участок он приобрел у овдовевшей генеральши лет пятнадцать назад, но не успел благоустроиться, потому что сел в тюрьму за неумеренное даже по армейским меркам воровство. Он провел в лагерях пять лет, и сосновый бор все это время стоял нетронутым. Но по освобождении интендант, видно, достал награбленное из тайников и первым делом вывел сосны на своем участке, заявив соседям, что сосна есть сорное дерево. Старуха-хозяйка назвала мне и фамилию соседа, точно я не запомнил, лишь обратил внимание, что фамилия звучала по-русски, что-то вроде Шишкин. Хозяйка вспоминала, как в один день были пригнаны на участок лесорубы с пилами и трактор; старожилы поселка, припавшие к забору, с ужасом смотрели, как падают вековые сосны, как ампутуют их ветви, как трактор легко подцепляет голые текущие смолой стволы и волочет в кучу в дальнем конце. Дело было вопиющее: сосны были пронумерованы лесничеством и находились под охраной. И разрешение на их уничтожение было получено Ефремом Вениаминовичем не иначе как за приличную взятку. Кто-то из соседей даже написал в газету, приезжала

корреспондентка, напечатала заметку, но дело осталось втуне, да и сосен было не вернуть.

Свою усадьбу Ефрем Вениаминович превратил в образцовую. Ворота были возведены из красного кирпича и украшены наподобие входа в московский зоопарк; при них стоял охранник, невысокий пузатый человек по имени Володя, бывший спецназовец: возможно, хозяин кого-то боится, предполагала моя хозяйка, начитавшаяся в юности готических романов. На самом деле это был работник по двору и слуга для мелких поручений. Как-то я разговорился с ним от скуки, он рассказал, что хозяин ночью в город за семечками посылал.

Самодур-пенсионер деревянный дом, однако, не снес, но оставил для хозяйственных нужд: там жила прислуга. А у самых ворот выстроил трехэтажную виллу, подстать им — краснокирпичную, на каждом этаже которого, шепнул Володя, ковер, по роскошному мягкому гарнитуру с лохматой шерстью и по квадратной кровати одному не застелить. Раскорчеванный участок рассекли гравийные дорожки, замкнутые бетонным бордюром, по бокам встали высокие столбы с лампами, посредине был устроен фонтан с прудом, обложенным булыжником, через пруд перебросили китайский горбатый мостик; фонтан не выключался и ночью, и в дождь, потому что в проточной воде в пруду жили карпы, которыми хозяин питался; старый дом, сараи, столбы, забор, скамейка-качели, игривая беседка прямо посреди лужайки были выкрашены яркой зеленой краской, а перилла мостика, балясины беседки, верхняя перекладина качелей — светло-бордовой, и участок, кабы не куры, общим видом напоминал бы территорию загород-

ного номенклатурного дома отдыха советских времен для парработников среднего звена.

Ничего больше о хозяине виллы мне узнать не удалось. Разве что дошли неясные сведения, что было у него две жены, совсем немного по нынешним временам. От каждой было по дочери, но ни одна из них на дачу не ездила, Ефрем Вениаминович утверждал, что они живут в Америке, но, думаю, старый интендант был просто-напросто скуп, не жаловал родню, как это свойственно жирно и не праведно разбогатевшим людям, даже чадолюбивым евреям. Известно было, что вторая, текущая, так сказать, жена болела в московской квартире, к ней ходила медсестра делать уколы, тогда как муж сидел на этой своей даче, на крыше которой не было даже телевизионной тарелки.

Однажды я все-таки увидел его. В кофте мешком до колен, со стриженным под горшок черно-седым жестким волосом на круглой голове, смахивавшим на парик, с падающими на воротник щеками, с огромным животом много больше, чем у его прислужника, на коротких ножках, и если бы не маленькая седая щеточка усов над губой, издали Ефрема Вениаминовича можно было принять за старую пузатую бабу.

Я все ломал голову, глаза в своем безделье на соседскую виллу, чем ее хозяин занимался на афганской войне, закончившейся четверть века назад. И что такое он там воровал. За неимением практики честного грабежа, я воображал всякую чепуху: Ефрем Вениаминович приторговывал солдатскими сапогами и шинельным сукном, как делали его коллеги еще во времена Крымской войны, мукой и тушенкой, не гранатометами

же. Хотя почему бы и нет. Я пытался представить себе прошлую соседскую жизнь. Сын, может быть, водителя грузовика, внук, быть может, ломового извозчика не зря ее прожил — исполнение заветных желаний поколений состоялось. Теперь он, окруженный челядью, владел собственным поместьем, как дореволюционные господа дачами на дальних станциях фонтана, куда на лето их с чадами и домочадцами перевозил на подводе его дед, и ел на обед, чередуя ее с карпами, собственную полезную и экологически вне подозрений парную курятину.

Однажды хозяйка пришла ко мне в панике: сосед заявил кому-то, что он купит всю улицу, установит на ней шлагбаумы и будет брать плату с проезжающих и прохожих. Вы думаете, такое возможно, тревожно спрашивала старушка, прибавив, что раз в год он покушается откупить ее участок. Я ответил в том духе, что, по-видимому, ее сосед шарлатан или помешанный маниакального склада. Она смотрела на меня задумчиво, знаете, Николай, он ведь был подпольщиком в одесских катакомбах, он и ордена показывал, и у него там, в Одессе, тоже вилла, и еще, кажется, в Тунисе. Я рассмеялся: но ведь он к началу войны только родился. Она все смотрела тревожно: и то правда. Я продолжал посмеиваться: может быть, просто-напросто он нравится вам как мужчина, вот вы ему и верите. Она смотрела на меня с прежним сомнением: он мне не нравится, я, знаете ли, его боюсь. И я не стал напоминать старушке, что в случае, если на робкую даму действует мужская харизма — Ефрем Вениаминович, видно, был нахра-

пист,— то страх и симпатия в каком-то смысле одно и то же.

Однажды, томясь в своей башенке,— отлыниваешь от работы чаще всего именно тогда, когда с трудом создал для нее все условия,— я наблюдал в окошко, как ловко крутит педали дочь хозяйки, поспешавшая по дорожке между сосен на дамском велосипеде с корзиной над передним колесом. В корзине были большие полиэтиленовые бутылки с ручками: она ехала за живой водой из близкого какого-то источника, в чудодейственность и целебность которого верили все окрестные дамы-дачницы, отнюдь не пейзажники. Я размышлял, помнится, об интеллигентской растерянности, опасливости и доверчивости. И прикидывал, отчего же эти Ефремы Вениаминовичи, настоящие хозяева положения, терпят нас рядом, переводчиков, безработных геологов и праздных сочинителей: быть может, для чего-то мы им нужны. Но это до времени, конечно, до времени, не пришла просто пора. И тут мне по какой-то неясной ассоциации припомнилось одно отдаленно знакомое московское семейство, назову их Стражниковыми. Припомнилось, быть может, потому, что муж Стражников, начинавший как провинциальный партийный функционер невысокого пошиба, как и наш сосед, сумел украсть такое количество денег, что ему хватило на несколько дорогих квартир в Москве, одну окнами на Христа Спасителя, и на дом в Алушке. И еще осталось, наверное, до смерти и собственной, и жены, и единственной дочери.

Реконструкция этой карьеры мне давалась много легче, чем соседской, потому что с мадам Стражниковой я был тесно знаком в течение нескольких лет — она

служила диктором на радио, и кто-то подсказал ей записывать на студии звукозаписи на Качалова мои описи; позже их же она наговаривала на компакт-диски для Общества слепых. А потому время от времени нуждалась в моих консультациях: как произносится, скажем, Мельмот Скиталец и где делать ударение в слове Мураками. Это была темноглазая, на коротких кривоватых ногах дамочка с пухлым порочным ртом, низким лобиком и скулами кипчачки. Живая, смешливая, одевалась она провинциально, в кофты с рюшами, в темные, малиновые или фиолетовые, шерстяные платья с накладными пожелтелыми кружевами ручной работы, зимой носила толстую древнюю шубу из котика, наверняка предмет застарелой зависти товарок по прошлой жизни, поскольку некогда такие были знаком настоящего благосостояния.

Было семейство из волжского, захудалого, хоть и губернского степного города: зимой холод и темень, летом несусветная жара и тяжелый запах гнили от ближних болот. Росли будущие супруги на одной кривой улице, в деревянных темных от влаги домах, похожих на бараки с печками, ходили в одну школу, он классом или двумя старше. Оба были городскими жителями во втором поколении: родители их пришли после войны в город из деревень. Но была между ними — на сторонний взгляд едва различимая — социальная разница: у нее отец умер, а мать была простой фабричной рабочей, у него отец был жив и трудился слесарем какого-то там разряда на той же фабрике, которой и принадлежали их халупы. Так что его семья была побогаче и потому склонялась к своеобразной пролетарской мелкобуржу-

азности, имела, скажем, стенку, тогда как уклад ее семьи — у нее была еще младшая сестра — оставался деревенским. Быть может, именно своеобразная гордость селянки или степное калмыкское свободолюбие его приворожили, но уже в последних классах школы они гуляли и сделались неразлучны — к недовольству его семьи, разумеется. Он окончил школу, поступил в техникум, где вскоре возглавил комсомольскую ячейку, сызмальства был активист, и роман их прервался, как и всегда обрываются школьные привязанности при вступлении в широкую жизнь. Но она совершила удивительный карьерный кульбит: еще в школе пела в самодеятельном хоре так называемые народные песни, а тут поступила в училище, готовившее культпросвет работников, по музыкальной части. У нее прорезался довольно сильный низкий голос томного цыганского тембра. Стала погуливать, ему доносили, он ревновал, их любовь возобновилась. Двадцати лет она вышла за него замуж, сыграли громкую комсомольскую свадьбу, одобренную непристойными деревенскими обрядами, после чего он стал инструктором по идеологии обкома комсомола. Молодожены получили комнату в коммунальной квартире в доме для местного начальства в самом центре города, на Ленина. Она выиграла конкурс и стала диктором областного радио. Молодые супруги Стражниковы подружились с обкомовскими детьми, жившими в том же доме, и понемногу вошли в круг здешней элиты: браконьерская охота и рыбная ловля круглый год, водка, изготавливавшая на экспорт, групповой секс с женами в узком привилегированном кругу

в уютной баньке, скрытой от посторонних взглядов в режимной зоне.

Из устных воспоминаний мадам мне известно, что ее молодой супруг уже тогда завел моду ежедневно бриться не иначе как в парикмахерской, а обедать не дома, но в ресторане гостиницы Астрахань. То есть имел замашки, вкус к невинному шику, хотел глядеть барином. И здесь сокровенный вопрос: была ли уже в те годы у молодого комсомольского инструктора Стражникова возможность красть. Нет, не принимать грошовые подарки, когда ездил с инспекциями по районным центрам, вяленую ляжку барана или там копченого сига, но всерьез брать и класть в карман. Одно понятно, он был очень сообразителен, потому что довольно скоро занял казавшуюся непрезентабельной другим, менее смышленным партийным карьеристам, должность инструктора обкома партии по делам церкви, что называлось по атеистической пропаганде. Ниже в те годы по партийной табели шли только инструкторы по противопожарной агитации.

И здесь нельзя не восхититься деятельностью ума молодого человека: там, где пенсионного возраста партийцы бубнили про опиум для народа и лелеяли первичность материи, молодой Стражников действовал много решительнее и предприимчивее. Он решил построить союз атеизма и религии, надолго предвосхитив плюрализм своей партии горбачевской эпохи. Его рассуждение было просто: у партии денег нет, у церкви они есть. Мне конечно неизвестно, каким образом он принудил делиться тамошний причт, понятно только, что деньги у него завелись и прятались в кубышку от

взглядов менее удачливых коллег. Мало того, он стал вхож к местному владыке и, что совсем уж удивительно, поскольку такого рода контакты тогда осуществлялись посредством другого ведомства, стал как бы партийным связным местной церкви и патриархата. Мне трудно представить механизмы его деятельности, но, так или иначе, сорока с небольшим лет от роду он уже был богат, жил в Москве и преподавал для отвода глаз историю религии в Академии сельского хозяйства, куда, впрочем, ездил на собственном Мерседесе с шофером. Мадам же была устроена диктором на всесоюзное радио. Приблизительно тогда мы с ней и познакомились.

Что, собственно, повлекло натянутое сравнение мирного поволжского партийца Стражникова с моим случайным соседом, одесским интендантом? Наверное, острый и, каюсь, несколько завистливый интерес к самой механике обогащения, не связанного с каким бы то ни было созиданием. То есть к таланту делать деньги из воздуха, причем второй мой пример в этом смысле разительнее, тогда как первый хромает: одессит хоть прямо и понятно воровал, тогда как волжанин отнюдь не торговал краденой церковной утварью. То есть первому приходилось-таки рисковать, тогда как ко второму деньги, кажется, плыли сами, если не учитывать, конечно, что взятки это тоже род воровства. Роднит этих персонажей и своего рода талант оказаться в нужное время в нужном месте и не упустить своего.

Но было у них и еще нечто общее: стремление к накоплению и потреблению при очевидном пренебрежении живой стороной жизни. К природе, скажем обобщенно. Нет, волжанин сосен не рубил, и вообще

заводить дачу на отрез отказывался. Мадам, унимая тягу к земле, даже развела в самой просторной из своих квартир небольшой сад, при котором состояла специально нанятая домработница, ботаник, как раздраженно именовал ее морщившийся от всего этого запаха и шелеста супруг. Впрочем, мирился, пусть хоть в квартире, потому что терпеть не мог открытого пространства и пребывания на пленере. Мадам Стражникова как-то объяснила мне эту сторону характера мужа: поскольку он вырос на Волге на свежем воздухе, с детских лет таскал воду, копал, пилил и колол дрова, то у него выработалась стойкая ненависть к любым физическим занятиям, которые в свою очередь связаны были в его ощущениях именно что с природой, с простыми условиями быта, с отсутствием удобств и зависимостью от погодных условий. И у одессита, и у волжанина, по видимому, были свои заветные представления о наилучшем образе жизни: у первого прозябание на собственной подмосковной вилле с фонтаном, под охраной и с курами, у второго — жизнь в удобной московской квартире с гостями и баром, полным под завязку заморскими напитками.

Все кончается, и я был почти свидетелем того, как оборвалась мирная семейная жизнь партийца и атеиста Стражникова. Волжанин, накупив квартир, жены через пару лет лишился, потому что она уехала, как сказано, в Алупку и открыла свое дело — частный пансионат с абрикосовым садом при нем, и присылала варенье. Видимо, с возрастом ее крестьянскому началу стало противно что ни день зачитывать по радио томным голосом вести с чужих полей: ей необходимо было самой чувст-

воват себя хозяйкой. Кроме того, она завела страстный роман с местным агрономом-виноградарем, потому что была натурой горячей и предприимчивой. Нет, супруги не разводились, просто волжанин, как мы знаем, терпеть не мог открытого пространства, а на море, как ни крути, половину пейзажа занимает вода, и остался пить виски в московской квартире с видом на Храм. Что же касается моего соседа-одессита, то в августе — мы уж подумывали о конце нашего пребывания в сосновом саду — его зарезали в собственном доме и вынесли из спальни на третьем этаже домашний сейф. На пороге осталась лежать мертвая лайка.

Конечно, это преступление взволновало поселок. Одни говорили, что Ефрема Вениаминовича пырнули кухонным ножом, а потом расчленили тело, другие — что пытали раскаленными прутьями, выбивая секрет хранения денег, третьи же, насмотревшиеся, видно, американских ужасов, утверждали, что его распилили обычной бензопилой, какой он сам пилил вековые сосны на своем участке. Некоторые даже полагали, что для убиения старого еврея использовали пилу-болгарку, какой режут железо, но это уж полнейший вздор и неправдоподобно. Скорее всего, права была моя хозяйка, и кто-то свел с интендантом старые счета, но подозрения пало на спецназовца Володю. Его арестовали, но вскоре выпустили, поскольку, как оказалось, он как раз в те дни уезжал к родне во Владимирскую область. Спецназовец вернулся на осиротелую дачу, встал на пост и включил фонтан, но некому уж было ему платить, и он как-то даже приходил к нашей хозяйке наниматься на какую-нибудь работу. Но старушка веж-

ливо, хоть и язвительно, сказала, что мы пока сосны пилить не будем, а как решимся — позовем...

Я валяюсь на своей койке со вторым томом на груди, открытом на части седьмой, Анна уже подъезжает к станции Обираловка Нижегородской дороги. Рыжий, слышу я со двора старушечий голос, Рыжий. И думаю обо всем, что происходит вокруг. Я думаю напряженно, но все равно ничего не понимаю в происходящем. Знаю лишь, что я, бедный сочинитель, на самом деле бездельник и дезертир, и ни в чем не участвую, спрятавшись в своей башенке, тогда как, судя по телевизионным новостям, кругом идет война. Кого-то взрывают, выкидывают на улицу, насилуют и грабят. Льется кровь, валятся дома, растекается нефть, кипят страсти, брат идет на брата, люди гибнут за металл, и даже Анна Каренина, даже Каренина... И тут набегаёт скорый поезд, надвигаясь издалека, башенка начинает будто постанывать, и вот уже поезд мчит мимо, совсем рядом, и дрожит и качается мое ложе. И кажется, что я еду на верхней полке в купе поезда дальнего следования. Вот только куда? Не знаю.

ЗУБНАЯ ПАСТА

Вдова полного академика Академии наук биофизика Ритермана Белла Львовна сразу после его похорон совершила подряд две попытки самоубийства, вторая ей удалась. В первый раз ей помешала дочь Ксения, не вовремя наведавшаяся к матери в большую родительскую квартиру в академическом доме на Ленинском проспекте. Старуху, пытавшуюся отравиться снотворным, откачали. Из Америки экстренно прилетел старший брат Ксении Александр, дети потребовали с матери страшную клятву не делать глупостей, та поклялась. И через три дня после отбытия сына удачно покончила собой тем же порядком, оставив записку в том духе, что без него мне здесь больше делать нечего. То есть без мужа Ритермана. Ни дети, ни многочисленные внуки — у Ксении к тому времени было двое детей, у Александра по одному от первого и третьего браков — ее, даму светскую и независимую, никогда специально не интересовали.

Белла была удивительной женщиной той породы, что нынче совершенно перевелась. Я знал еще только двух таких, у каждой было по пять-шесть мужей: высших чинов партийцы, дипломаты-шпионы, знатные энкаведешники, прославленные кинорежиссеры. Плоско было бы сказать, что все они были роковыми красавицами, скорее — профессиональными подругами самых видных и удачливых мужских особей империи, естественным путем переходившие из рук в руки. Подобно тому, как есть же профессиональные жены писателей, раз в пять-шесть лет перекочевывающие из одной квар-

тиры в Лаврушинском в другую, с одной переделкин-ской дачи переезжающие на соседнюю,— рано или поздно они оседают ввиду понятных возрастных обстоятельств, становясь примерными вдовами, чтящими память и разбирающими архив. Да что жены, есть великолепная порода профессиональных вдов, а обзавестись заблаговременно приличной вдовой важное дело для любого человека творческой профессии.

У каждой такой женщины какой-нибудь один муж был непременно любимым и занимал в матримониальном списке заветное место. Но не всем везло так, как Белле — любимым у нее оказался последний по счету муж, хоть и был ревнивец моложе ее на десять лет, все годы брака остававшийся от нее без памяти и обещавший состояться значительным ученым. Здесь уже то показательно, что от предыдущих мужей у нее никаких детей не было, а от этого целых двое. В обиходе биографов и записных воспоминателей это называется обрести, наконец, свое счастье.

Я знал эту семью, поскольку смолоду был знаком с Саней, он тоже учился в нашей математической школе, классом старше, к тому же наши отцы были хорошо знакомы. Я в юности даже безуспешно пытался ухаживать за его сестрой Ксюшей, чьи плечи — материнские, считалось в семье — никого не могли оставить равнодушным. Но Ксения как-то впопыхах и не вовремя с моей тогдашней точки зрения выскочила замуж за своего однокурсника по биофаку, у которого папа был что-то там полковником в Генеральном штабе. И мы с Саней, как и другие члены нашей компании по посещению отдельных номеров в Сандунах с непременно следовав-

шим затем преферансом по маленькой, дружно сочли этот брак мезальянсом.

Впрочем, Саня не пошел по естественнонаучной стезе, но выбрал карьеру кинематографиста. В этом была повинна Белла — он с детства называл мать по ее настоянию именно так, Белла, тогда как младшая Ксения все-таки мама. Белла была некогда испанской переводчицей, — выучила испанский, когда рука об руку с одним из мужей защищала республиканский Мадрид, — подвизалась синхронисткой, водила маленького сына на закрытые просмотры в Дом кино и поддерживала дружбу с приятелем того самого мужа Карлосом Саурой, кем-то в роде испанского Бондарчука. Любила она и театр, и на всяком прогоне на публике очередной постановки Виктюка можно было увидеть ее, мирно дремлющую в первом ряду. Однажды мы столкнулись с ней в театральном фойе, здесь был и Саня, увидев меня, он крикнул сейчас вернусь. Пошел звать свою новую жену, сейчас будет перед вами хвастаться, объяснила мне его мать. Новая жена действительно явилась, звали ее нежно — Тая, молоденькая и очень хорошенькая актриса из Минска, с которой потом в Америку Саня и укатил. Впрочем, Белла довольно скептически относилась к достижением сына на ниве искусства экрана, хотя он после ВГИКа снял на родине популярный детский сериал, а на деньги американского продюсера — довольно дикий по невежеству триллер из жизни русского средневековья со своей белорусской женой и Стивеном Сигалом в главных ролях. Нет, мы с Волей не в восторге, трезво сказала мне Белла после просмотра — Волей она

называла своего мужа, носившего полное имя Вольдемар Владимирович.

Была Белла до старости и отчаянной путешественницей, мой отец рассказывал как-то, что однажды при пересадке в Льеже — он направлялся из Брюсселя в Москву — на мокром пустом перроне увидел маленькую одинокую фигуру пожилой дамы при огромной грудке чемоданов, и это была она, а ведь ей тогда шло к восьмидесяти. За всем тем она успевала быть верной женой и стойкой хозяйкой, держать в отменном порядке оба дома — вторая квартира у них была в ученом городке Пущино, окнами на Оку, на заповедник с зубрами на противоположном берегу. И сопровождала мужа на все научные конференции, куда того приглашали. Казалось, при такой энергии, при таком не иссякающем жизнелюбии мысль добровольно уйти из жизни не должна была приходить ей в голову, хоть и была она, конечно, вполне самурайского характера.

Саня оставил свою жену Таисию в Голливуде, где, впрочем, ни он, ни она работы пока не нашли, но предпочитали обретаться именно там, поближе к американскому кинопроцессу, надеясь на нечаянное везение, и прилетел хоронить мать. На похороны он меня не позвал, я понимаю его, неприятно оказаться в центре такого скандала: кажется, он стеснялся экстравагантного материнского конца, породившего, конечно, в Москве много пересудов. И позвонил лишь, когда все было кончено. Ему предстояло еще проваландаться на родине пару недель, речь шла об оформлении наследства, и мы решили по старинке отправиться в Сандуны, а потом пообедать в Узбекистане, как когда-то. Мы попарились,

попили пива в предбаннике, вспоминая былые дни и общих девиц, он хвастал, что вот-вот запустится на одной из Голливудских студий с лентой по собственному сценарию, носившему рабочее название Пистолет, но тему семейных дел тщательно обходил. И только за столом ресторана, когда под салат из редьки с бараньим жиром и лагман с домашней лапшой мы прикончили вторую бутылку и заказали еще, он вдруг сказал что-то в том духе, что матушка перед смертью задала ему загадку. И прибавил не без раздражения ну, ты же ее знаешь, употребив по привычке настоящее время. И лишь когда мы доедали плов под третью бутылку, запивая горячим зеленым чаем, он сказал:

—Понимаешь, после смерти отца мать нашла в кабинете, в тумбе его письменного стола, запас зубной пасты. Странно, да, что ты по этому поводу думаешь?

Я ничего не думал по этому поводу, и готов был отнести гигиеническую предусмотрительность академика на счет известных слабостей больших ученых, со странностями бытового поведения которых был знаком не понаслышке. Она сказала еще, помню, добавил Саня задумчиво, что только тогда поняла, как была перед ним виновата...

Саня Ритерман давно вернулся к осаде Голливуда, я стал забывать и его семейную драму, и его самого, хоть изредка мы обменивались шутивными электронными письмами — все реже, впрочем. Но время от времени ни с того ни с сего я вспоминал наш разговор в узбекском заведении, пытаюсь разгадать загадку, что задала своему сыну покойная Белла напоследок. Перед ним виновата, перед ним виновата, повторял я ее сло-

ва, удивляясь — она была образцовой и заботливой женой. Даже не женой — матерью. Я вдруг удивительно явственно вспомнил один непарадный ужин у них в квартире. За большим столом в столовой сидели гости, все друзья дома, чужих не было. Белла привычно вела стол, и время от времени обращалась к мужу ведь правда, Волик? Академик, осанки барственной, с чутким носатым профилем, сидел молча в своей кабинетной куртке и ничего не отвечал, лишь кивал едва приметно седой с проплешинами головой.

Да-да, вспоминал я, в ее присутствии покойный Ритерман всегда помалкивал. Помню, на одной конференции в Таллинне, куда я был приглашен отцом в качестве водителя,— потом он хотел заглянуть в Тарту, посетить Новгород и Псков, вернувшись в Москву через Валдай,— Белла царила на завершающем банкете. Она была здесь единственной женой, другие дамы были участницами. Нет, она не исполняла роль тамады, но как-то исподволь, быть может, бессознательно направляла застолье. И в какой-то момент Белла поднялась и произнесла замысловатый тост за ученых мужей, и было понятно, что она таким способом славословит собственного мужа. Тот поморщился, и я слышал, поскольку сидел рядом, как он прошептал ну, Белла, зачем... А она повернулась к нему, сияя неумеренно накрашенным для ее возраста лицом, и строго сказала сухого красного можно.

Нет, глупо было бы говорить, что он был под каблуком, его человеческая значительность и мужская достаточность ни у кого не вызывали сомнения, но сфера его жизненного пространства была заужена, присутст-

вие жены было тотальным, куда он ни повернись. Я примерил ситуацию на себя: скорее всего, я так жить не смог бы. И вдруг мне все стало ясно с этой самой пресловутой зубной пастой: академик наивно пытался иметь в собственном доме хоть что-то свое, не свои лишь ученые книги, ни свои рукописи, но что-то частное, бытовое, мужское. Курить под давлением жены он давно бросил, и не мог коллекционировать трубки. Мыло, полотенца, белье,— все было жене подконтрольно. Вот разве что паста... И, кажется, только после смерти мужа именно это Белла и поняла, наткнувшись на его личные не прошедшие ее таможенную припасы.

Прошло не меньше трех лет с похорон Беллы, когда Саня был в Москве в последний раз. И вдруг он позвонил, был оживлен, сказал, торопясь, старик, завтра в Доме кино в большом зале моя премьера, потом — сам понимаешь... жду, начало в семь. Фильм назывался Пистолет, это не было новое слово в кинематографе, так, довольно обычный триллер, но сделана лента была на удивление динамично и крепко, и я искренне был рад за Саню, азартно аплодировал, когда он и его группа вышли на сцену на поклоны. Обнялись мы только в ресторане, и я поздравил его. Он вглядывался в меня не без тревоги, но, удостоверившись, что я не лъщу ему из обязанности, а радуюсь за него, усадил за банкетным столом от себя по правую руку. И даже поднял тост за друзей молодости.

Саня стал совсем американцем. То и дело оговаривался, переходя на английский, кокетливо извинялся, не без блеска играя роль любимчика публики и героя дня. Я улучил минутку, когда гости налегли на горячее, чтоб

перемолвиться с ним парой слов. Таисия не поехала, ей, кажется, дают роль, как-то между делом сказал он.

— Слушай, Саня, возможно, я понял... Помнишь ту загадку с зубной пастой, что загадала тебе мама...

Он посмотрел на меня, не понимая, о чем я, какая паста? И тут же, как некогда, задорно подтолкнул меня локтем, указывая глазами на известную красивую высокую грудастую актрису с глупыми глазами, что сидела напротив нас за столом. Неплохо, а? Что ж, он не устал и привычкам молодости не изменял. Да и выглядел очень моложаво.

ПОХОРОНЫ ДАМЫ

Она умерла от разрыва сердца на улице, выбежав растерзанная, в порванной дубленке, на мороз из квартиры, где временно проживала с мужчиной ее двадцатилетняя дочь Марина. У подъезда ждал последний, как оказалось, в ее жизни любовник Василий — безнадежный и нищий сочинитель и исполнитель под гитару лирических песен, бард, так это отчего-то называется. Она прошла несколько шагов по тротуару, нагнулась, зачерпнула ладонью снега, приложила к разбитому лицу, пробормотала *сейчас бы коньяка, что ли*, вскрикнула от боли и рухнула другу на руки.

Мать и дочь в тот день решали вопрос раздела маленькой двухкомнатной квартиры вблизи метро Коломенская, где обе были прописаны. Марина выросла в меньшей комнате, где в детстве мать запирала ее на время своих самых веселых вечеринок. Теперь повзрослевшая дочь требовала свою законную долю жилплощади, но матери казалось, что та, неблагодарная и своекорыстная, мечтает на пятом десятке вышвырнуть ее на улицу. Потому, было понятно, что их дешевую квартиру не разменять, и двух квартир за нее никак не получить и из нее не сделать. А денег ни у той, ни у другой не было.

Сорокалетний пьющий безработный мужик, которого дочь называла мужем, хотя никаким мужем он, конечно, не был, их разнимал, но безрезультатно. Мать сама определила некогда дочь, та была в восьмом классе, в секцию единоборств, чтобы сумела в случае чего постоять за себя, теперь боевые навыки пригоди-

лись: одной рукой дочь таскала мать за волосы, а ребром правой больно била по шее. Но так, как ее учили, осторожно, чтобы не задеть артерию и нечаянно не убить.

Впавший в нервную дрожь бард вынул у подруги из сумочки телефон и кое-как, попадая то в пожарную команду, то в милицию вызвал скорую. Пока он ждал на морозе, поддерживая осевшее на ледяную землю ченеющее тело, он нашел в телефоне и номер бывшего мужа умершей подруги, кинорежиссера по фамилии Тинский, отца, к слову, этой самой Мариночки, хотя, кажется, эту свою дочь он никогда не видел. Приехала скорая, тело дамы освидетельствовали и увезли в морг 1-ой градской больницы, тут же кружила и милиция. На счастье при покойной обнаружился паспорт. Оказался он и у барда — тот всегда носил с собой документы, потому что в последнее время на улицах его часто останавливали, он и впрямь до того обносился, что стал похож на бродягу. Хотя некогда был удачлив, песню на его слова когда-то пела сама Разина. И даже отхватила с ней приз на интернациональном фестивале в одной из стран тогдашней народной демократии.

С мужем-режиссером бард Василий не был знаком, но тот, вникнув в дело, не стал задавать лишних вопросов, а назначил собеседнику, не откладывая, встретиться у Дома кино. Режиссер узнал барда по нервной озабоченности и обтрепанности, они поднялись в ресторан, где попили пива, а потом водки. И, можно сказать, подружились, так, во всяком случае, показалось барду. Такое впечатление у него сложилось оттого, что режиссер тут же доверительно рассказал по-

следнему любовнику своей бывшей жены, как лет двадцать назад она сбежала от него, будучи беременной. Она побежала к возлюбленному-сценаристу родом из города Омск. Муж через общих знакомых легко нашел съемную квартиру сценариста и всю ночь провел под дверью, умоляя жену вернуться к нему и слушая, как в квартире сценарист ее громко трахает. Этот рассказ производил тем большее впечатление, что режиссер оставлял впечатление мачо, с официантками общался с грубоватой веселостью и на ты, хватал их за руки бесцеремонно, разговаривал громко, почти кричал. У него был свернут на сторону нос, зубы отсутствовали, в нем угадывался нрав беспокойный и разнузданный; барда и менестреля он сразу же стал называть странным именем Вася, с ударением на последний слог и с покровительственной интонацией, и панибратски ударяя по плечу, если тот хоть на секунду отвлекался от разговора.

Дама, так трагически погибшая на морозе на сорок седьмом году жизни, имела бурную неоднозначную биографию. Впрочем, ранняя глава ее жизни банальна. Родом она была из маленького приазовского городишки, ухитрившегося, однако, боком протиснуться не однажды и в русскую историю, и в историю русской литературы. Она выросла в крепкой крестьянской, богомольной семье сурового традиционного уклада, чуть не старообрядческой. Ее отец и мать, некогда уйдя из деревни, осели у моря и постепенно отстроили большой дом, потому что хозяин стал рыбаком, и при этом почти совсем не пил. Завели большое хозяйство, которым ведала жена; муж прикупил в степи участок земли, приобрел машину и всякие выходные ездил на бахчу, как у

нас ездят на дачу, где было у него к тому же несколько ульев. Их единственная дочь росла вольнолюбивой и подвижной, лазила с пацанами шарить чужие сады. К семнадцати она стала замечательно хорошенькой и кокетливой. При этом прекрасно училась, все схватывала легко, потому что была живой и способной, и решила, что по окончании школы уедет в Москву поступать на артистку. Она победила родительское сопротивление, добралась до столицы, подала документы в Щепкинское училище, спала на вокзале, зубрила басни и твердила отрывок, но по конкурсу не прошла, и тут жизнь юной провинциалки сделала первый зигзаг.

В те годы в Москве записные ходоки очень любили июль месяц — а может быть, и сейчас любят. Любили потому, что именно тогда на стендах перед театральными училищами вывешивались окончательные списки зачисленных. И многие хорошенькие простушки из дальних городов своих имен в списках, разумеется, не находили. Они рыдали здесь же, на улице, прежде всего потому, что возвращаться домой не солоно хлебавши им казалось позором, а податься в огромном чужом городе было некуда. И они с удовольствием, утирая слезы, принимали предложения обходительных столичных господ. С тем большим облегчением и надеждой, если господин оказывался кинорежиссером и показывал членский билет Союза кинематографистов. Они как-то сразу утешались, потому что были юны, полны надежд на чудо и твердо верили, что у них-то непременно все образуется, не может не образоваться.

Режиссер Тинский привез нашу героиню, именно таким образом *снятую, клеенную и зафалованную*,

сленг тех лет, — пришло время назвать ее имя, она звалась Леся, — к себе в двухкомнатную квартиру на Тверском бульваре на первом этаже старого дома, где он проживал с матерью, донской казачкой. Леся стала там жить на законных основаниях, потому что Тинский на третий день знакомства повел ее в ЗАГС, где они расписались: ему страшно понравился тот факт, что Леся оказалась девственницей. Осенью они съездили к родителям Леси в городок на Азовском берегу, где поначалу Лесины старики, как называл их Тинский, хоть они были едва на десять лет его старше, не пришли в восторг от выбора дочери: Тинский уже начал сесть, а их Леся оказалась его четвертой женой. Но дело было не поправить, и чин по чину сыграли свадьбу с притоком родни и соседей, с Лесиными подружками, под шатром во дворе, со столами, ломившимися от балыков и огромных арбузов, с семидесяти градусным самогоном. Тинский гулял по-казачьи, с размахом, дирижировал праздником, к подружкам невесты не лез, поскольку все четыре дня застолья оставался на удивлении трезв. Потом молодые, нагруженные приданым невесты, пуховыми подушками, перинами и рушниками, а также подарками гостей — преимущественно отчего-то китайскими фарфоровыми сервизами с ивами и фанзами — отбыли в столицу.

Леся стала жить с мужем, старалась быть хозяйкой, но жить ей приходилось в основном со свекровью, потому что мужа никогда не было дома. Свекровь была женщиной суровой, малоразговорчивой и подозрительной. Несколько раз Леся бывала свидетельницей ужасных сцен, случавшихся между сыном и матерью:

они страшно ругали друг друга, дрались, Лесю не замечая, швыряли друг в друга свадебными китайскими кружками со страховидными драконами. Однажды Леся, вернувшись из магазина, обнаружила на кухне странную особу: в ботах на босу ногу, хоть был только март, в линялой юбке, в мужском пиджаке, в низко повязанной косынке. Глаз гостя она не поднимала, чертила пальцем на подоле. Это оказалась невестка свекрови, жена ее старшего сына, сидевшего в лагере за убийство и грабеж, впрочем, она и сама только что откинулась из зоны. И, выходит, приходилась Лесе золовкой: странно, об этой своей родне муж ей никогда не рассказывал.

Они прожили вместе уже года четыре, но Леся к беспокойству ее родителей никак не беременела, что было объяснимо: молодой Тинский признавал только оральные секс. И — мне Леся это рассказывала сама — после многих попыток ей пришлось буквально изнасиловать супруга, пока тот спал, и заставить его кончить внутри ее лона. И она забеременела: молодой организм, выросший на здоровой пище на свежем приморском воздухе, оказался цепок. Узнав, что жена беременна, Тинский ее поколотил, полагая, видно, что беременна она не от него, ведь он бывал предусмотрителен. И колотил всякий божий день, надеясь, видно, что у нее будет выкидыш — делать аборт она наотрез отказалась. Тогда-то она и сбежала к сценаристу, а потом уехала рожать на Азов, где спустя пару лет оставила дочку на руках дедушки и бабушки, не пожелавших отпускать от себя любимую внучку. Сама же Леся опять

ринулась покорять столицу, что теперь, как вы понимаете, для нее было много легче.

Мы с ней познакомились, когда она праздновала свой тридцать пятый день рождения — кто-то привел меня к ней в гости. Десятилетняя уже Мариночка так и жила в провинции, а Леся, продолжая носить гордую фамилию Тинская, пережила в эти годы немало приключений, выходила замуж фиктивно, работала в ЖЭКе, получила комнату в коммуналке, потом обменяла ее на однокомнатную квартиру, потом, недавно, однокомнатную — на эту вот, двухкомнатную, денег на доплату ей выдали родители. Потому что было решено, что с восьмого класса Мариночка переедет-таки в Москву к маме, которая вдруг обеспокоилась ее образованием. Но пока она жила одна, и в тот вечер праздновала не только свой день рождения, но и новоселье.

Так получилось, что самого Тинского я тоже немного знал, но познакомился с ним, когда Леся уже от него сбежала, и он жил со следующей женой по имени, кажется, Ольга, пухлой женщиной с большой бородавкой на правой щеке, по специальности, если мне память не изменяет, дежурной по этажу в интуристовской гостинице. Трудно представить, сколько остается в номере барахла после иностранки средней руки, приговаривал Тинский: он, как и многие его коллеги по официальному советскому искусству, никогда не гнушался мелкой фарцовкой. Знал я его по ресторану Дома кино, где он скандалил и дебоширил. Убей не помню, как мы оказались однажды за одним ресторанным столиком, а потом у него в квартире, — кажется, он зазвал меня и одну из спутниц к себе читать стихи. И он действительно чи-

тал под коньяк, который я прихватил перед самым закрытием, в последний момент в буфете, малодоступного тогда американского Бродского и еще какие-то стихи, явно превосходившие Бродского по качеству и которые Тинский приписывал себе. Помнится, мы сбежали от него обманом, поскольку он не хотел нас отпускать, но легкомысленно положил ключи от входной двери на стол на кухне, в которой нас принимал.

С Лесей мы быстро сдружились. Тогда это была уже весьма разбитная и ушлая дамочка, не растерявшая, впрочем, ни веселости, ни радости бытия, ведущая образ жизни вольный и всегда открытая самым сумасшедшим приключениям. По краткому размышлению я решил, что иметь ее в любовницах весьма хлопотно, а вот обрести в ее лице дружка очень даже удобно. Я быстро убедился, что передо мной замечательный тип бесшабашной авантюристки, щедрой, непрактичной и неверной. Могу найти на улице миллион, но забуду его в трамвае, так характеризовала она сама себя. Я бывал свидетелем ее головокружительных любовных эскапад. Однажды она поехала отдохнуть в Батуми и привезла оттуда очередного возлюбленного — дрессировщика дельфинов: могла и дельфина прихватить, куражилась она. В другой раз у нее завелся поклонник — капитан речной сухогрузной баржи. И, поскольку ее дом выходил торцом на набережную Москва реки, капитан приплывал к ней на свидания на своем судне. Это я называю наиболее экстравагантных ее любовников, а кинематографистов и художников, пресных после бурного Тинского, я уж и не вспоминаю, эти, судя по отзывам Леси, были малоинтересны и все как один помешаны

на порнографии. Пожалуй, один только был забавен, еврейский поэт-песенник: перед тем, как лечь в кровать, он решал, какое животное будет изображать во время акта. Скажем, сегодня, приговаривал он, снимая трусы, я буду ягуаром. А ты что, спрашивал я Лесю. Что-то, он рычал, я пугалась, это его возбуждало...

Время от времени Леся устраивалась на какую-нибудь работу, всегда тоже довольно странную: инструктором Бюро пропаганды киноискусства или ассистентом главного художника будущей Московской Олимпиады. Этот самый художник, разумеется, тоже был ее любовником, и до Олимпиады занимался постановкой праздничных демонстраций на Красной площади. Это был очень богатый пожилой человек со старой парализованной женой-еврейкой, мечтавший уехать, наконец, в тихую и теплую страну Израиль, где к каждой немолодой финиковой пальме подается отдельно свой ручеек воды, вот только закончатся эти игрушки. Это именно он придумал летающего Мишку, который должен был в день окончания Игр отправиться по воздуху в свое последнее путешествие. То есть не самого Мишку, но его полет: как деятель тертый, он прекрасно понимал, насколько советское начальство жестоко и сентиментально, и точно так же сентиментально и жестоко подвластное ему население. И это именно он утвердил веселенькую, ярко-малиновую летнюю, с короткими рукавами рубашек, форму охранников, и едва не поплатился за это: такая рубашка не скрывала револьвера. И спасла старого оформителя языческих коммунистических массовых действий именно она, Леся, которая поехала на фабрику со всей партией этих самых проклятых

рубашек и уговорила работниц остаться на ночь, чтобы к утру безвозмездно, из одного патриотического чувства нашить длинные рукава, которые прикрывали бы кобуру. И старик так растрогался, что предложил ей руку и сердце, уверяя, что больную жену он, конечно, не оставит, но что они уедут в землю обетованную все вместе, втроем, туда, где пальмы, пески и жива память о библейских чудесах. А денег на всех у него хватит. Но Леся лишь весело смеялась, хоть и говорила мне, что по своему привязалась к этому старому и щедрому с ней чудаку. Кончилась эта любовь на моих глазах: я заглянул как-то к Лесе в гости, на улице был страшный дождь, она забрала мою рубашку сушиться, а выдала чью-то чужую. И в этот момент в дверь позвонил ее жених. Он увидел меня в своей рубашке и все понял, разубеждать его было бесполезно. Я слышал, как, уйдя на кухню, он, человек тертый, но артистический, бурно зарыдал.

Работала Леся урывками, в охотку, потому, что нужды зарабатывать не имела — неплохим источником дохода для нее были алименты, которые поступали к ней в виде процентов с заработков Тинского: тот в большинстве случаев выступал и в роли соавтора сценариев собственных фильмов. Каких-то истернов из времен гражданской войны, каких-то героических лент из жизни доблестного ЧК, каких-то биографических картин-биографий отечественных революционных деятелей. Но получить причитающееся по исполнительному листу было нелегко: Тинский гастролировал по всему Союзу, подвизался на республиканских студиях, подставлял в титрах фиктивные имена. У него, кроме Ма-

риночки, было еще две дочери от разных жен. И теоретически он должен был отдавать этим давно чужим ему тетям половину всех своих заработков. И вот Леся нашла адреса двух своих, так сказать, родственниц, сестер, так сказать, по несчастливым бракам, которые до тех пор не были знакомы друг с другом, и вызвала их на совещание в кафе Националь. Здесь за столиком был заключен исторический тройственный союз: объединившиеся бывшие жены Тинского поделили между собой все студии страны по территориальному признаку и поклялись снабжать друг друга всей нужной информацией. Леся вспоминала, что из Националя она поехала домой к старшей жене — допивать, и там они провели чудесную ночь любви — в память, так сказать, о неверном Тинском. Думаю, он никогда не узнал об этом лесбийском приключении своих былых подруг, но зато однажды, придя на Мосфильм за огромной по тем временам суммой гонорара за какую-то свою революционную картину, разрыдался у кассы, получив лишь половину того, на что рассчитывал. Он вопил, рвал на себе волосы, скрипел зубами и рычал бляди, бляди... Я все это рассказываю так подробно, чтобы подчеркнуть: при жизни Леси он ее видеть не желал, справедливо полагая, что это именно она придумала столь организованно отбирать у него кровные деньги.

И здесь я опишу последнюю полосу жизни Леси. К сорока у нее стало пошаливать сердце, тогда как прочие шалости стали надоедать. Короче, она решила притормозить. Она забрала-таки дочь в Москву, устроила в школу, и веселья действительно поубавилось, хоть и трудно было бороться с собственными привычками. И

тут опять жизнь ее самым непредсказуемым образом повернулась. У нее завелся очень приличный постоянный любовник, проректор одного из московских театральных училищ: он и надоумил Лесю, всегда любившую театр, правда, безответно, поступить на заочное отделение факультета режиссуры народных театров. Леся приезжала со мной советоваться. Твердила, что все забыла, имея в виду давние школьные познания. Я подбадривал ее, полагая в глубине души, что из этой затеи ничего не получится. Но я недооценивал ее характер потомственной староверки. Она поступила, став в сорок лет студенткой, что-то там сдала ускоренно и через два года получила диплом: как назидательно говаривал один мой приятель, поэт и бродяга, когда просил у меня водку, ни на ком, Коля, никогда нельзя ставить крест. Этот самый диплом Леся получила за дипломный спектакль, который поставила в драматическом театре своего родного города. Здесь наша дружба почти обрывается: несколько лет я ничего не слышал о Лесе, но однажды она мне позвонила, мы встретились в Центре. Она была умопомрачительна. Так выглядят состоятельные дамы из далеких провинций, и я решил грешным делом, что в своем городе она вышла замуж за секретаря райкома. Или за директора торгового порта. Но дело обстояло много ошеломительнее: замуж она не выходила, но стала главным режиссером тамошнего театра.

Вернулась она в Москву из-за той же дочки Мариночки, которая, уже семнадцатилетняя, оканчивала школу и должна была поступать в институт. Здесь начинается самый темный для меня период жизни Леси.

Знаю только, что ни в какой институт Мариночка не поступила — не захотела поступать. Что характер у девочки проснулся бабушкин по отцовской линии, казацкий, агрессивный, без тени материнской женственности и жалостливости. Своего отца Тинского дочь пыталась преследовать, тот от нее прятался, думаю, ею руководили не сентиментальные чувства, но расчет: с ее семнадцати лет он не обязан был ей ничего платить, и она хотела, так сказать, продлить контракт. Чем занималась Леся — не знаю, я лишь однажды встретил ее днем в одной московской грузинской забегаловке, куда заходили актеры ближнего театра и студенты консерватории есть очень здесь вкусные и недорогие хинкали. С Лесей был этот самый бард, которого я видел впервые — за спиной у него была гитара в коричневом футляре. Оба были не то что пьяны, но в них бродили, что называется, вчерашние дрожжи. Леся, мне показалось, не была слишком мне рада, но схватила за рукав и сказала: хочу представить тебе своего будущего мужа, автора-исполнителя... Этот самый муж мало того, что был ее видимо младше, но казался плюгавым и зашуганным, особенно на фоне некоторых былых ее любовников. Я понял, что от меня требуется, заказал выпивку, закуску, харчо для Васи и выпил с ними по рюмке, как за будущих молодоженов. И быстро ушел: оба показались мне потертыми, помятыми, опустившимися.

Финал вам известен: бывший муж Тинский и последний любовник и несостоявшийся муж бард Вася каким-то образом, при посредстве дочери, очевидно, получили в морге гроб с телом покойницы, совершенно не зная, что с этим гробом делать: Мариночка, увидев

гроб матери, вдруг исчезла — наверное, поспешила оформлять квартиру на свое имя. Посоветовавшись, оба согласились, что покойнице было бы приятнее всего быть похороненной у себя на родине. Так началось последнее путешествие Леси, такое же удивительное и бестолковое, как и сама ее жизнь.

Тинский и бард не нашли ничего лучше, как отправить гроб с усопшей на ее малую родину в почтовом вагоне. А сами проследовать в том же поезде в купейном. Так, во всяком случае, они сообразили. Но из этой идеи ничего не вышло: оказалось, гробы с покойниками — это вам не мебельный гарнитур, и по почте их отправлять не положено. Однако билеты на поезд были уже взяты, а со дня кончины Леси прошло уже три дня, и заморозка могла кончиться. Заплатив начальнику поезда, дежурному по составу и проводнице, они загрузили покойницу в рабочий тамбур первого вагона, следующего за локомотивом. И по истечении суток благополучно выгрузили его вокзале приазовского городка. Здесь они нашли грузовичок и подкатили прямо к дому родителей Леси, которые были извещены о кончине дочери телеграммой. Удивительно, но эти простые люди всегда любили Тинского, а сейчас и вовсе испытывали к нему благодарность: он и впрямь повел себя на редкость благородно. И благородно и трезво вел себя все три дня похорон и поминок, тогда как бард Вася, как напился в первый же день, так и проспал в летней кухне, натопленной по такому случаю, в обнимку с бутылью самогона до самого дня отъезда.

Но еще более поучительно, что прощаться с взбалмошной и непоседливой Лесей, какой я ее знал, при-

шел весь город. Да-да, это не я придумал, это сказал мне с оттенком гордости Тинский, когда мы встретились с ним на девятый день на поминальной службе в одной из московских церквей. Было очень много венков, и от властей тоже прибавил он значительно. Службу, конечно, заказал Тинский, а Вася обзвонил друзей. Режиссер стоял со свечой в распахнутой дубленке, пахло ладаном, поп бубнил молитву. Я смотрел на Тинского сбоку, видел в полутьме свернутый его нос, всклокоченную бороденку, и вдруг — я не поверил глазам своим — в беглом свете свечей блеснули на его щеке одна, потом другая слеза. Нет, мне не почудилось, он переложил свою свечу с бумажкой, на которую падал воск, в левую руку, а правой потер глаза. Может быть... может быть, он любил покойницу, подумал я. Это была минута, конечно, но тогда неожиданно для себя я и сам едва не прослезился.

ИСТОРИЯ К.

Шли смутные годы, когда железный занавес еще прочно висел на месте, и твердо стояла Берлинская стена. Мои знакомые прицельно познакомили меня с несколько сонной, но обаятельной пышной молодой дамой по фамилии Казарновская и по морскому имени Марьяна, слегка припадавшей на одну ногу. Она служила английской переводчицей иностранного отдела Союза писателей. Будучи разведена, зажиточно существовала одна в двухкомнатной квартире в престижном районе возле впадения Дорогомиловской улицы в Кутузовский проспект, рядом с продуктовой Березкой. Безбедной она была не сама по себе, работала мало, бралась только за интересные предложения, больше валялась на тахте с Агатой Кристи в оригинале, съедая коробку зефира в шоколаде на один прочитанный детектив. Ее содержала мама по имени Валерия, в обиходе Вава. Самой же Ваве достаток пришел от бывшего тестя, знаменитого московского адвоката Бронштейна, дедушки Марьяны. Муж Вавы, тоже Бронштейн и тоже адвокат, попал в какую-то темную историю и умер в тюрьме, когда Марьяне было года три, и отца она не помнила.

В отличие от своей дочери-тетехи Вава была энергичной стройной дамой с пышной грудью, чаровницей и душой компании, имела второго мужа Марка, мужчину видного, вальяжного, но задумчивого, ревновавшую жену даже к приятелям своей падчерицы. Впрочем, Вава была безупречна, имела только одну извинительную слабость: она хотела, чтобы дочь была счастлива. С пер-

вой попытки это не вышло. Марьяна хоть и сменила девичью фамилию Бронштейн на фамилию первого мужа, преподавателя марксизма-ленинизма и фарцовщика, но скоро развелась. Она утверждала, что Казарновский был садист и приковывал ее к батарее, чтобы она не ходила в театр. Театралкой, впрочем, она не была и сохранила с первым мужем приятельские отношения. В этом месте ее биографии и произошла заминка со следующим замужеством. А значит и с поиском счастья.

По солидарному мнению матери и дочери, Марьяна после развода с первым мужем, скомпрометировавшим племя советских мужчин, могла стать счастливой только за границей — возможно, здесь отзывался древний зов исхода с последующим рассеянием. Впрочем, счастьем дочери Вава сама же невольно препятствовала: во-первых, она невероятно избаловала единственную дочь, и та была несуразно для своего возраста капризна; во-вторых, она звонила дочери каждый десять минут, а если не звонила сама, то дочь нервно набирала ее номер. По телефону обе страшно шумели, ссорились и бросали трубки. Я, понятно, слушал эти разговоры только с одного конца и равнодушно, привык к тому, как истошно Марьяна орет на мать. Платонический друг, я был безучастным и незаинтересованным свидетелем, понимал, что таким образом бурно проявляется неразлучность навек и обозначается любовь, настоящая не только на личном родстве, но и на принадлежности одному племени. Это было чувство того южного градуса, какового мне никогда было не изведать. Но еще вопрос, проявляли бы подобное понимание другие.

Прицел моих знакомых, когда они привели меня к мадам Казарновской, был в том, что для меня, не еврея, она, в случае, если я на ней женюсь, сможет служить транспортным средством для перемещения на Запад по израильской визе, тогда как я в свою очередь пригожусь ей, от рождения прихрамывающей, нести чемодан. Впрочем, эмигрировать я не собирался, но мы подружились, и я с удовольствием посещал Марьяну, выпивал на ее кухне кофе с коньяком, даже приводил к ней приятелей, используя удачно расположенную ее квартиру как базу. Подчас она меня приглашала на какие-нибудь забавные мероприятия. Скажем, на свадьбу своей знакомой — продавщицы сувениров из магазина подарков на Кутузовском: Марьяна регулярно приобретала у нее безделушки на память подопечным англоязычным сочинителям, посещавшим с непонятным упорством Советскую страну по приглашению писательского союза. Продавщица, родом из далекого сибирского села, обслуживала своих покупателей не только за прилавком, но и в постели в свободное от торговли время за конвертируемую валюту. И как всякая порядочная девушка хотела выйти замуж за иностранца, так тогда было принято. Попался итальянец, который, несмотря на плюгавость, работал вышибалой в ночном клубе в Западном Берлине. Социально они были близки: итальянец тоже был из деревни, правда, не сибирской, но сицилийской. На свадьбе в модном тогда ресторане гостиницы Союз меня посадили рядом с молодыми. Жених плохо понимал по-английски, но крайне возмутился, когда я втолковал ему, что у нас в России есть обычай: первую ночь после свадьбы невеста проводит

со своим школьным другом. Невеста же покачала головой и шепнула мне, чтобы я так не шутил, Сицилия все-таки. Тогда я предложил ей пари, что уже через пару месяцев она вернется на родину, но она подняла меня на смех. Пари я выиграл: она вернулась через сорок дней. Сицилиец принялся всякий день ее колотить; отправляясь на работу, запирал на ночь на ключ; и грозился продать в бордель, если она будет плохо себя вести. Девушка натурально выпрыгнула в окно и, что было духу, побежала в советское консульство.

В другой раз Марьяна позвала меня на встречу с одним своим подопечным арабом. Роскошный красавец, сидящий в кресле в костюме Hugo Boss занимал в гостинице Пекин огромный люкс, как саудовский шейх, днями, по словам Марьяны, пил виски, запивая новосветским шампанским и попирая тем самым заповеди Корана, тогда как в алькове в дальней комнате прятались гурии из местных валютных проституток. Дела шейх улаживал здесь же, не покидая номера. Он был приветлив со мной, и, учитывая, что он учился в Оксфорде, можно было не удивляться его воспитанности: разумеется, Марьяна спала с ним, иначе, зачем бы ему была нужна английская переводчица. Шейх щедро плеснул мне Black and White и подарил роскошный выпуск русскоязычного журнала Лотос с переводами собственных стихов: он оказался министром Ясира Арафата по пропаганде, и журнал этот издавался, разумеется, на советские деньги. Стихи были, к примеру, таковы:

*Черных ночей растворяется морок.
Утренний свет, разливайся кругом!
Освободим и расширим просторы*

Отчей земли, притесненной врагом!

Впрочем, не думаю, чтобы эту галиматью сочинял сам плейбой, скорее всего за него старались советские переводчики.

Были у Марьяны и постоянные любовники. Один, бас из Большого театра родом из Баку, другой латыш-театровед. Никто никому не мешал: бас был женат, забегал лишь днем, между репетицией и спектаклем, а что до театроведа, то его жена была подругой Вава по ресторану ВТО, и был он ветрен и пуглив, в расчет не принимался. Однако все это было несерьезно, а годы шли, товар залеживался, Вава волновалась, и помощи ждать было неоткуда. Несмотря на то, что носить чемоданы в Венском аэропорту я отказался, Вава все-таки примеривалась ко мне на всякий случай, несколько раз мы даже чинно ужинали вчетвером, по-семейному: Вава и Марк, Марьяна и я. Вава говорила мне дружески: господи, Коля, если ты сам не хочешь быть моим зятем, найди же девочке кого-нибудь, у тебя столько знакомых. Я бы и нашел, клянусь Богом, но тут, как говорят романисты, в дело вмешался случай. Случай назывался Андрюша. Это был мой шапочный приятель по ночной московской жизни, и однажды я непредусмотрительно привез его к Марьяне поздно вечером — допивать. Допив, он остался в ее постели — лет на двадцать с перерывами, и, когда на следующее утро у меня раздался звонок, из разговора с Марьяной я понял, что произошло непоправимое: она нашла свое счастье.

Я предвидел некоторые грядущие недоразумения, даже небольшие неприятности, но то, как стали разворачиваться события, я не мог бы представить себе и в

страшном сне. Как и Валерия, разумеется. Уже через несколько дней после начала этого романа, она, дама светская и выдержанная, много повидавшая на своем веку, позвонила мне, с трудом сдерживая рыдания. Оказалось, Марьяночка только что заезжала к ней и потребовала приличную сумму в валюте, даже чашки чая не выпила, потому что внизу в такси ее ждал этот. Впрочем, дочь объяснила матери, по-видимому, не объяснить было нельзя, а придумывать какую-нибудь приличную версию было некогда, отчего уже с утра ей понадобилась валюта: купить для этого виски в валютном магазине. Она влюбилась в этого козла, он же твой друг, сделай же что-нибудь, в отчаянии взывала ко мне Вава. Но сделать что-нибудь было уже в не моих силах, потому что я видел: приятель быстро оценил все выгоды своего нового положения и удобно расположился в Центре города рядом с Березкой, что ж, я его отлично понимал. Бас был отвергнут. Латыш-театровед, как это всегда случается отчего-то именно с опасливыми и предусмотрительными людьми, был самым позорным образом спущен с лестницы. Что ж, Андрюша был рыцарь, и, что весьма кстати, тоже переводчик, но французский, коллега, можно сказать. Он иногда синхронил в Доме кино для собственного удовольствия, но в целом был бездельник, бесшабашный автомобилист, фарцовщик от случая к случаю, драчун, ловелас и альфонс, образцовый экземпляр стильного племени московских денди, которое перевелось нынче. Не скрою от вас, милейший, говорил он мне как-нибудь за столом, люблю этот город, хоть в Париже белых штанов хватает на три дня, в Москве — на три часа. Короче, Андрюша был

мечта состоятельной и скучающей разведенной женщины тридцати с небольшим лет с мазохистским комплексом, обратной стороной избалованности, и с большим сердцем.

Не буду описывать перипетии этого романа: Андрюша пропадал и возвращался, загуливал с девками, шиковал на деньги Марьяны в Арагви, в пьяном виде нещадно порол ее, настаивая на немедленном оргазме, мог среди ночи позвонить и потребовать привезти ему водки в загородный пансионат, куда он удалился с приятелем играть на бильярде. Короче, был в репертуаре, какой мог довести даже не такую чувствительную мать как Вава до инфаркта. Она все чаще взывала ко мне, призывая спасти девочку, потому что больше взывать было не к кому. Так продолжалось несколько лет. Марьяночка называла Андрюшу мужем, хоть жениться на ней он не изъявлял никакого желания, мотивируя это тем, что она никак не француженка, а, напротив, вонючая жидовка, к тому же хромая. И дело действительно принимало худой оборот: с инфарктом слегла не Стела, но ее муж Марк — по-видимому, от жалости к любимой жене. У самой Марьяны стала трястись голова; иногда, оставшись одна, она выла, как собака; подчас при одном виде наглой физиономии любимого она, млея, вдруг впадала в истерику, проклиная тот час, когда она его встретила, ужасаясь тому, как она живет, отказываясь понимать, как такое с ней могло случиться. Он же только ухмылялся. Она дошла до такой степени отчаяния, что спрашивала у меня, за какие грехи ей послано такое наказание, и, если бы она хоть во что-то верила, ей можно было бы порекомендовать совершить палом-

ничество или хоть сходить на исповедь. Но она была воспитана атеисткой.

И тут произошло почти чудо. У меня был друг мой норвежский переводчик барон фон Берг, немец по происхождению, который в свои сорок с небольшим оставался старым холостяком. И вот, съев как-то в моем доме очень много пельменей и выпив очень много водки, барон сказал, что давно хотел жениться на интеллигентной русской девушке, и нет ли у меня кого-нибудь на примете. Русской фройлен, выразился он для ясности. Бог мой, так вот ведь выход, вот же оно спасение. И я заявил, что у меня есть на примете подходящая девушка, и уже на другой день мы отправились с Вавой, — мужу был прописан домашний режим, — с Марьяной и фон Бергом в ресторан Всероссийского театрального общества. Состоялась помолвка, было подано заявление в ЗАГС, свадьба была назначена через месяц. От Андрюши все приготовления держались в строгом секрете, и впору было удивиться, сколь твердый характер вдруг обнаружила моя ветреная подружка в виду открывшихся заграничных перспектив. На бракосочетание явилась толпа норвежских пожилых девушек в национальных нарядах, каких-то кузин, что ли, пили шампанское, на Ленинских тогда еще, горах из горла, пели народные песни викингов, невеста в белом газе была обворожительна и застенчива. И уже через неделю молодые отбыли из Ленинграда паромом в Хельсинки, а там поездом до Стокгольма, где пообедали со шведской ветвью рода, после чего отбыли в Осло для постоянного совместного проживания.

— Не скрою от вас, любезнейший, — сказал Анд-рюша, когда мы в очередной раз сидели с ним в ресто-ране, — вы подложили мне приличную свинью, Марья-ночка была прелесть как удобна.

Я посмотрел ему в глаза и сказал твердо: Андрэ, она выбрала свободу.

— Идите в жопу, — сказал Андрэ, и больше ничего не сказал, потому что разливал коньяк нам и дамам.

Через несколько месяцев как прораб их семейного счастья, я был приглашен новобрачными в гости в город Осло. Когда мы с баронессой фон Берг вдвоем прогули-вались по парку, заставленному скульптурами Мунка, она спросила меня: вот ты все знаешь, скажи, отчего он со мной не спит. То есть, как не спит! Так, очень просто, вообще не спит, и не спал ни разу, сказала она с ноткой жесткости к самой себе, он каждый день пьет пиво в здешнем доме журналистов с молоденькими студента-ми, а потом приходит и ложится на кухне. Я припомнил некоторые странности барона: он любил обниматься, когда выпьет. По-видимому, это был случай латентной педерастии. Что такое латентная, спросила Марьяна жестко, так говорят женщины, которые немало пережи-ли. Я объяснил. И подумал, что женитьба ему нужна была, по-видимому, для отвода глаз и спокойствия род-ственников. Да-да, сказала Марьяна, похоже; к тому же, знаешь ли, он, конечно, барон, но нищий барон; вся се-мья богатая, два брата богатые, сестра богатая, а он нищий. Но я не стал рассказывать ей о фольклорном ар-хетипе меньшого брата. Вдруг лицо ее вспыхнуло, она взяла мою руку застенчиво и волнуясь: а как там Анд-рюша, говорят, у него какая-то Танька... Так или иначе,

но Марьяна фон Берг, нагруженная электроникой, на которую тогда в Москве был повышенный спрос, вскоре опять оказалась в Москве, в своей квартире на Кутузовском, рядом с Березкой, и опять каждый день по сто раз говорила со своей мамой по телефону. И вернулась на работу в Союз писателей. И приносила по утрам Андриюше кофе с виски в постель. И была так счастлива, словно это-то и был у нее медовый месяц.

Железный занавес пал. Стену скоро должны были начать крушить. Я получил приглашение на работу в город Вашингтон. Однажды — дело, происходило в конце апреля, я запомнил, потому что на The Mall цвета сакура — у меня раздался телефонный звонок. Звонила Марьяна: я в Штатах, я все тебе объясню, нужен твой совет, можно я к тебе приеду. Кажется, она продолжала верить, что у меня легкая рука. Она прибыла на другой день, похудевшая и загорелая. Мы обедали в китайском ресторане, потом пили Маргариту в мексиканском баре на берегу Потوماка. Картина была такова. Марьяне перепал выгодный заказ: сопровождать в качестве переводчика каких-то богатых американцев в туре по Закавказью. Одному из них в Баку стало плохо, причем так плохо, что его доставили в больницу, тут же уложили на операционный стол и удалили аппендицит. Его спутники развернулись и улетели обратно в Штаты, а сердобольная Марьяна осталась, хоть это, конечно, не было предусмотрено ее обязанностями. Не могла же я его бросить, сказала мне эта сердечная русская женщина — в Америке все мы русские, от евреев до казахов. Пока за больным летели родственники, а Марьяна работала сиделкой, выяснилось, что ее пациент — сенатор от

штата Флорида. Сейчас я прямо с Гавайев, с яхты, сенатор считает, что я спасла ему жизнь, он спрашивает, что он может для меня сделать, что мне попросить? Про Андрюшу она, окрыленная перспективами новой американской жизни, ни разу не упомянула.

Наверное, потому, что сам я пребывал в Америке по линии академической, я посоветовал попросить визу Би-2, засчитать ее институтский диплом и устроить в аспирантуру по специальности русская литература в университете штата Флорида. Сам я плохо верил, что такое возможно, Марьяна в своей жизни ничего кроме Агаты Кристи не читала. И каково же было мое восхищение, когда уже через полгода миссис фон Берг готовила докторскую диссертацию в университете города Телехасси, попутно преподавая русский язык американским студентам и то и дело позванивая, задавая такие, например, вопросы: не знаю ли я часом, кто такой *как его Стринберг*. Забегая вперед скажу, что нынче она полный профессор русской литературы в университете штата Айова.

С Андрюшей я виделся редко. Он действительно женился и именно на Таньке. И Ваву я почти не видел. Умер Марк, на похороны Марьяна прилететь не смогла. Андрюше сделали раковую операцию и оттяпали часть правого легкого. Стала болеть Вава. Андрюша умер осенью, погода стояла самая унылая, на его убогих поминках жена Танька ревела белугой, а роскошная старуха Ирина Хмелевская, тоже в далекой молодости бывшая женой Андрюши, не нее покрикивала: мол, цыц, хватит выть. Потом обе вдовы напились. Марьяна узнала о его смерти только через несколько месяцев, когда приле-

тела хоронить мать. Я не был на похоронах, потому что узнал о смерти Валерии, лишь когда все было кончено. Марьяна позвонила мне и позвала на девять дней, не забыв сказать, что Валерия завещала мне гарднеровский столовый сервиз. За столом сидела лишь старуха-соседка, которой был завещан дубовый буфет. Когда мы остались одни, Марьяна, которая держалась строго, не плакала, сказала, что теперь она миссис Ривейра; что ее муж, американец испанского происхождения, тоже профессор, но испанской литературы; и что у них большой дом, очень большой, ты должен приехать в гости. Впрочем, сейчас муж уже на пенсии и занимается тем, что ловит судаков. Он состоит в ассоциации по ловле этой рыбы, добавила она, не скрывая отвращения. Потом она спросила, где похоронен Андрей. Пришлось звонить Таньке — оказалось, на Кунцевском кладбище. Ты поедешь со мной? Мы поехали. Долго искали могилу, бродя туда сюда между нищими надгробиями по весенней грязи, нашли, наконец. Марьяна молча стояла перед грубым каменным крестом, который воздвиг на могиле брат Андрея, женатый на француженке и живший в Марселе, долго смотрела на овальную фотографию: лицо Андрюши расплывалось в светло-коричневой мути. Потом миссис Ривейра зарыдала. Правой рукой она все порывалась погладить надгробье, а левой делала жест, будто отстраняет кого-то. Она рыдала долго, пока я не заметил, что ее больная нога слабеет, и она вот-вот осядет на землю. Я подхватил ее, и она принялась плакать у меня на груди, что-то приговаривая по-английски, я разобрал лишь, что он звонил, а я не подходила. Больше миссис Ривейра я не видел. И

сервизом Валерии не пользуюсь. Впрочем, вру, в этом году я доставал его, когда мы с женой накрывали новогодний стол.

ЭЛЬДОРАДО

Молодая монашка в низко повязанной белой, праздничной, косынке встретила нас на перроне. Не приветливо окинув меня светлыми близорукими глазами, монашка трижды приложилась своими щеками к щекам моей спутницы, пробормотала Христос воскрес. Воистину, откликнулась Лара. Со мной монашка, звали ее сестра Аглая, не похристосовалась, попыталась взять у Лары дорожную сумку, я перехватил, повела нас за собой. На привокзальной площади ждала средних лет BMW, чисто вымытая, тускло светившая черным лаком. Монашка пригласила садиться на заднее сидение и, ловко подоткнув подол рясы, уселась за руль. По дороге не без горделивого патриотизма она пересказала историю городка, упомянув первым делом, как некогда поляки загадили центральный собор здешнего Кремля, и показала оставшийся от крепости обломок стены, торчавший обок центральной улицы Интернациональная. Не без удовлетворения сестра Аглая поведала, что позже город разграбили французы, а через век с лишним спалили немцы, в чем, впрочем, им помогла наступавшая Красная армия: как и прочие обыватели, она гордилась не разрушениями и поражениями, конечно, но самой древней историей своего города. А, впрочем, и разрушениями — гордятся же ветераны давними ранениями.

Лара, не слишком богомольная, но легкая на подъем старинная моя подруга давно сманивала меня в это путешествие. Будучи общительна, она еще осенью познакомилась с двумя сестрами-монашками на москов-

ской собачьей выставке, где показывала своих левреток. Младшая из сестер была золотошвейка, и старшая привозила ее продукцию в столицу на продажу, прикупая попутно породистых щенков. Придя в восторг от пикантности новых знакомых, Лара впала с ними в решительную дружбу. Монашки тоже горячо ею заинтересовались, сообразив, наверное, что при обширных светских связях Лары через нее будет удобно сбывать свой товар. Всю зиму они названивали новой московской знакомой и зазывали в гости, поскольку жили не в монастыре, но в собственном доме. Лара все звала меня погостить у ее новых приятельниц, вот увидишь — тебе будет интересно, но не ехать же в пост к черту на рога к монашкам карасиками спасаться, как выражался старик Карамазов. И только после Пасхи, которая в тот год выдалась ранней, на снегу, как говаривали в старину, я сдался.

Со слов моей приятельницы выходило, что сестры-монашки были, так сказать, расстриги: их изгнала из здешней Петровой обители недобрая настоятельница — кажется, они не спешили делиться с монастырем доходами от своего бизнеса, что было, конечно же, нарушением устава. Но носили рясы чин по чину. Странно: исторгнутые из монастыря, сестры не должны были бы облачаться в монашескую одежду. Впрочем, я сразу же засомневался и в том, что были они именно монахинями в строгом смысле: среди людей светских мало кто знает, что в православных женских монастырях существует шесть степеней посвящения, и эти новые Ларины странные подружки были, скорее всего, просто послушницами, даже не инокинями.

Повод, который приготовила монашкам Лара, чтобы прибыть в строгий сестринский дом не одной, но с другом, был тот, что друг может поддержать их скромный бизнес и купить кое-что из производимых ими православно-сувенирных изделий на месте. На самом же деле она тащила меня, конечно ж, чтоб я составил ей компанию и скрасил эту ее сомнительную авантюру. Но согласился я не из любезности и даже не из любопытства — от скуки, от желания преодолеть лень и слезть с дивана. Да еще из нелепой идеи обновить свои представления о родной стороне — у журналистов и кремлевского начальства это называется посетить регионы. Хотя знал, конечно, что увижу, скорее всего, лишь то же сладострастное провинциальное убожество, никуда не исчезающее в России со времен Чичикова.

Еще в поезде, когда мы с Ларой сидели в ресторане, она рассказала, что младшей лет двадцать пять, старшей же — около пятидесяти, но они утверждают, что являются сестрами: не только в смысле пострига, но и по прямому родству. На самом деле они скрывают, что они мать и дочь, но это тайна, понимаешь, тайна, ты уж притворись, шептала Лара страшным шепотом. Видимо, мою буржуазную подругу будоражил дух секретности этих частных подробностей, которые теперь, когда мы туда попадем, станут отчасти и нашими интимными обстоятельствами. Зачем бы это скрывать истинное положение дел, помнится, лениво подумал я, разве что для имитации девства обеих. Ну да какое мне дело до страшных тайн двух мирных беглых монашек-спекулянтков.

Поскольку в обители монашек я не мог стать постельцем, не подходил по признаку пола, то первым делом меня завезли в единственную в городе гостиницу с общим душем в конце коридора. Однако я успел лишь заселиться, то есть заплатить за номер и бросить дорожный саквояж, поскольку мы торопились на праздничный пасхальный обед, с которым нас ждала старшая. Подбрав меня, БМВ рассекла лужу на площади перед гостиницей, сиганула через деревянный мост, выскочила из центра, описала петлю по каким-то кривым улицам, пересекая посад, и мы прибыли. Пока сестра Аглая загоняла машину в гараж, сумку оставьте, сказала она Ларе, я приберу, старшая сестра Анастасия точно в такой же рясе и накидке, в такой же белой косынке, облобызав Лару, облобызала и меня. А потом, не заводя в дом, стала показывать поместье: голый пока сад, остовы прошлогодних теплиц с обрывками полиэтилена, вид на выгон, где за кустами пропадала речка, на уже виденную нами белую колокольню на другом высоком берегу. Порыкивающая кудлатая немецкая овчарка бегала по цепи во дворе, а, успокоившись, ворча, убралась в вольер, устроенный у соседского забора. Это у нас вторая, первую сосед-милиционер отравил, буднично обронила хозяйка, как если бы здесь было принято — травить соседских собак. Но взглянула исподволь острым глазком: она, я заметил, с первой минуты ко мне приглядывалась. Что ж, подумал я, она по деревенской привычке на всякий случай изливает свои обиды столичному человеку, который, что бы там ни было, ближе к центральной власти.

Были они не местные, родом из Тульской губернии, впрочем, о прошлом сестра Анастасия говорила неохотно. Сказала только вскользь, что в монастырь этого захолустного городишки попали из другого южно-русского монастыря, и пробыли здесь шесть лет. А вот недавно, в том годе, изделия матушки Аглаи взяли грамоту на выставке в Ватикане, сообщила она со слащавой торжественностью, быть может, набивая цену на свои изделия. Что ж, настоятельница, верно, рассталась с ними не только из-за неуместного сестринского сребролюбия, но и по причине греха гордыни. И вот теперь у них свой дом, говорила монашка, напирая на слово свой, недавно приобретенный, с котельной в подвале, с гаражом и баней. Дом действительно был внушителен, красного кирпича, двухэтажный.

Позвали внутрь. Оказалось, сестры держат еще пару персиковых лабрадоров, черно-белого красавца бёрна, двух колли, и собаки бродили по сеним и комнатам, тычась гостям в колени. Старшая по-прежнему говорила, не замолкая, тогда как младшая больше помалкивала. По словам старшей, произнесенным с нажимом, этим Великим постом они особенно усиленно постились, но отчего особенно — не сказала. При этом обе отнюдь не были бледны, как бывают белы до прозрачной синевы, с чернотой округ глаз, истовые молитвенницы и постницы, вовсе не казались изможденными, напротив, были оживлены и энергичны.

Мать и дочь одна на другую не были похожи: старшая — коренастая, с широкими сильными крестьянскими руками, кареглазая, другая — светленькая, с худым лицом. Девушка хоть и была, по словам старшей,

с двенадцати лет в монастыре келейницей, то есть девчонкой при настоятельнице, отнюдь не выглядела смиренницей, и под ее рясой, когда она двигалась по комнате, угадывались развитые бедра зрелой молодой женщины. Обращались они друг к другу мать Аглая и мать Анастасия, и в этом тоже слышалась фальшь.

В зале, как они на крестьянский лад именовали большую комнату, красного угла не было, зато по стенам висели в рамках собачьи родословные и дипломы: с неподобающей духовным лицам суетностью они гордились собачьей породистостью. Что ж, дело было поставлено на широкую ногу, и на разведении собак они тоже зарабатывали. В передней комнате стоял большой круглый стол, за которым могла уместиться дюжина гостей, огромный телевизор и звуковая установка. Образа же, по всей вероятности, помещались в спальнях-кельях хозяек. Показали нам и мастерскую младшей на втором этаже: по обилию станочков, наборам тонких сверл, повсюду расставленным склянкам можно было решить, что попал в скромный ювелирный цех. Здесь же были и образцы ремесла Аглаи. Лара по светской обязанности все причитала, восхищаясь, всплескивала руками, обнимала и тискала мастерицу по-матерински талантливая девочка, самородок просто, такая необычная. Та чуть отстранялась, скупое усмехалась, светлые ее глаза оставались холодными. Ну, вам-то не нравится, обратилась она вдруг ко мне с той же недоброжелательностью, с какой встретила на вокзале. Я заверил, что очень нравится, отдав, впрочем, должное ее проницательности: от этого сладкого золотого китча на мой

вкус несло расчетливой показной набожностью, а вовсе не простодушной верой.

На обед из города прибыли еще два гостя: заполошная толстуха, помощница мэра по культуре, сама сочинявшая песни и исполнявшая их под гитару, и молодой курчаво-бородатый румяный поп-блондин в будничном облачении, темной рясе, черной шерстяной накидке и лиловой скуфейке. Из застольного разговора, который направляла сестра Анастасия, выяснилось, что сестра Аглая теперь мало работает, потому что посадила глаза; и что отца Никифора сняли с соседского прихода, потому что владыка возревновал, и он теперь преподает в школе историю и нанимает квартиру в городе, на которой живет со своим послушником, студентом сельскохозяйственного техникума. Все это было рассказано с полнейшим простодушием. Что ж, в таком местечке, где милиционеры травят соседских овчарок, а содомский грех не грех, как было не разговеться. Тем более что на столе были и окорок, и балык, и крашеные яйца в плетеной вазочке, и пасхи, и куличи с глазурью, и граненый штоф настоящей на лимонной цедре водки. Монашки потягивали церковный кагор из поместительных лафетных рюмок, Лара тоже от крепкого отказалась — для нее открыли бутылку рислинга, мы же с бабушкой налегли на сорокоградусную, в чем нас поддержала дама из культпросвета, хоть и была за рулем — одну можно. Трапеза, впрочем, проходила скучно и скоро закончилась, поскольку чиновница, перед которой старшая определенно заискивала, забыла гитару, за что я был ей благодарен. Впрочем, я вам кассету перепису, добродушно посулила она. Священник тоже стал откла-

ниваться, говоря, что вечером у него встреча, Лару отправили прилечь после обеда. Я успел махнуть на дорожку лишь еще пару рюмок, как помощница мэра вызвалась довезти меня до гостиницы. Сговорились: на следующий день Лару и меня после завтрака повезут осматривать какие-то достопримечательности километрах в пятидесяти. После обеда я был благодушен, и на осмотр достопримечательностей с благодарностью согласился.

По дороге, занявшей минут десять, я узнал, что рядом с гостиницей есть единственный в городе ресторан, не считая гостиничного буфета и кабака на минской трассе, в мотеле. Что называется ресторан Трактирь, и кормят там лучше чем у вас в Метрополе. Это могло бы показаться преувеличением, но, признаться, в Метрополе я так давно не был, что забыл вкус тамошней пищи. Кормили действительно превосходно, одно меню можно было петь под аккомпанемент ансамбля народных инструментов: и копченый угорь, и соленые рыжики, и буженина с чесноком, и щи по-новгородски, и мясная селянка в горшочке, и ледяная водка ста сортов с квасом с хреном на запивку, и рижский бальзам с кофе на десерт. И цены такие, что поначалу я подумал, уж не в долларах ли их здесь указывают. Жена мэра держит, пояснила моя провожатая, вы заказывайте, я только одну рюмочку, мне тут рядом. Выпила она три или четыре, перепоручила меня заботам официантки Татьяны и ушла. Я просидел до позднего вечера, брал, кажется, официантку, усталую женщину средних лет, за руку, уверяя, что теперь буду ездить к ней из Москвы обедать каждую субботу, и все спрашивал дорогу до

своего отеля. Да наискосок, говорила Татьяна тоном, каким говорят с детьми, хоть я и сам помнил, что гостиница должна стоять напротив. На широкой площади мела поземка, и я сообразил, что в такую пору в таком местечке самое дело снимать с загулявших приезжих пальто. И все оглядывался пугливо на коммунистического идола — не гонится ли, хоть и пеший...

По причине атаки клопов, а также потому, что окна моего номера выходили не на площадь, а на автобусную станцию, где с пяти заводили двигатели, я почти не спал, не было шести — уже вышел из душа, оделся и решил пройтись по улицам просыпающегося городка. Как и по всей стране, этот населенный пункт еще в хрущевскую эпоху был застроен временными длинными трехэтажными бараками с канализацией и водопроводом, но время этих строений несколько десятилетий как истекло. Поэтому выглядели эти постройки, будто пережили недавно артиллерийский обстрел, ободранные, кривые, с забитыми по первым этажам фанерой окнами, с зияющими дырами чердачных отдушин. Были они такого гадкого цвета, как если бы всякий день их окатывали сверху помоями. На улицах повсюду как бомбовые воронки зияли ямы и провалы, полные мусором. В тех домах, что глядели фасадами на площадь, были на первом этаже магазины, в которых можно было купить кое-что съедобное: после семи я приобрел там флягу дрянного коньяка, шоколада и три апельсина. На одном из этих парадных зданий, напротив памятника большевистскому вождю, светились в утренних потемках огромные буквы рекламы известной по всей стране торговой фирмы по продаже бытовой электроники ЭЛЬДОРАДО.

И представлялось, что не Ржавь или там Рвязь есть истинное название городка, но именно Эльдорадо, так победно светилась эта яркая вывеска, крупнее которой в поселении не было.

Впрочем, рядом с советским идолом, стоял единственный двенадцатиэтажный дом-башня вполне приличного вида. Скорее всего, здесь жила местная знать, чиновная и торговая, и вчерашняя несостоявшаяся певунья, возможно. Хорош был и недавно отреставрированный центральный собор в том самом Петровом женском монастыре, откуда наших сестер выгнали. Белый, будто струившийся в грязном воздухе, стройный, колокольный, видный с любого городского места, он единственный мог конкурировать с наглой неоновой рекламой торгашей. В девять, как договорились, я позвонил матушкам; Аглая сообщила, что Лара еще не встала, а что приехать за мной никто не сможет. Но такси брать не надо, поскольку машину вы не найдете. И объяснила: пешком до слободы близко; и что меня ждут к завтраку к двенадцати, а после поедем. Она продиктовала мне адрес, порекомендовала перейти мост, потом направо, потом слева мост, там наша улица, — ну, как вчера ехали, вы же помните. И дала отбой, и мне грешным делом пришла в голову мысль, что она избегает оставаться со мной наедине, побаивается, наверное, мужчин.

Дороги я, конечно, не помнил. На свой страх и риск опять покинул гостиницу и пошел наобум. Была пятница, утро рабочего дня, но редкие встречавшиеся мне на пути прохожие обоего пола, одетые в ватники, ушанки, резиновые сапоги, будто здесь вчера распустили зону,

все как один по нашей пасхальной традиции были уже пьяны. Когда я обращался к туземцам с расспросами, они лишь пугливо шарахались и ускоряли шаг. Первый мост я нашел, форсировал и тут же попал в кромешные трущобы. Повсюду были помойки, в которых копались бездомные псы, клевали вороны, не обращавшие внимание на прохожих, лишь раз метнулась вбок длинная крыса. Потом я шел меж какими-то заборами, из одних ворот выскочила пара мелких собачонок и стала хватать меня за штаны. Из-за забора их атаку поддерживал свирепым рыком метавшийся в ярости и пене огромный кобел, и страшно было подумать, что он может вырваться из ограды. Заборы оборвались, а вместе с ними и ослизлая тропинка. Хватаясь за хилые кусты, я кое-как сполз по грязи со склона. И оказался-таки на втором мосту, потом — на улице, на которой за облезлыми палисадами виднелись дома понарядней, с синими и зелеными наличниками. Через какое-то время скитаний по этой слободе, проклиная и Лару, и монашек, и самого себя за свою мягкотелость, я попал-таки по адресу, где меня действительно ждали к завтраку.

Повторились те же разговоры, и воспитанная Лара, ударяя в ладоши, нахваливала и дом, и двор, и собак, и самих хозяев, и скромный завтрак, к которому не подали даже рюмки водки. Все трое оказались тяжелы на подъем, торопить я их не мог, но и принимать участие в женской болтовне мне стало трудно, жить — мучительно, я вышел во двор курить, надеясь ускорить старт. Я стоял у забора, потом прошелся туда сюда, было зябко. Все предприятие, в которое вовлекла меня моя неумная подруга, казалось мне теперь донельзя нелепым, но

предстояло дожидаться вечера: я твердо решил сегодня же отправиться восвояси. На лавке у ворот дома напротив косо сидел молодой мужик в спортивном костюме и ушанке набекрень, то и дело клонясь на бок. Я отвернулся, достал фляжку, глотнул. Мэ-э-э, сказал мужик за спиной, будто учуяв запах коньяка. Это ты из деревни, услышал я за спиной, это про тебя звонили? Передо мной стояла темная толстая баба лет пятидесяти, одетая по здешним меркам богато: в каракулевой дохе, в пуховом оренбургском платке, каким была привернута к голове меховая шляпа. Смуглым лицом эта местная модница напоминала цыганку. Иди, иди за мной, вон мой дом, в том конце... Странно, неужели в своем длинном черном кашемировом пальто, с завернутым бордовым шарфом, в вяленой шапочке из Туниса я походил на деревенского. Баба сделала несколько шагов вперед, но остановилась и обернулась: идем, что ли. Видя, что я не двигаюсь, она посмотрела на меня долгим, мутным и недобрим черным взглядом. А-а, к этим, что ли, произнесла она со злобой и плюнула на ворота монашек. И пошла дальше, переваливаясь, и стало видно, что на ногах у нее белые модные теплые сапоги, все заляпанные. Я в недоумении смотрел цыганке вслед. Правильно она говорит... денег дай, отчетливо сказал парень в ушанке и упал с лавки на грязную прошлогоднюю траву. Потом я спросил у сестры Анастасии, кто была эта странная женщина, действительно цыганка? А, шинкарка, отвечала та с неохотой, и спросила с неудовольствием, вы с ней разговаривали, она вас зазывала? Нет-нет, смешался я, заинтригованный. Наверное, самогоном торгует или марихуаной.

Мы уже уселись, причем меня усадили вперед, рядом с водителем, в виду моего большого размера, как подошла к машине другая баба, попроще, но тоже толстенная, и повелительно застучала в стекло. Сестра Аглая приоткрыла дверцу. А чего песок там сгрузили, закричала баба, я говорила там не сгружать. Монашка отвечала заискивающе, не без испуга: мы уберем, мы только на один деть. Но та продолжала орать: я говорила песок не сгружать на выгоне, а оне сгрузили, я говорила... штраф... грузят где хотят... порядка не соблюдают...не уважают... штраф... Машина тронулась. Это старшая по улице, пояснила монашка сквозь сжатые зубы. А ее мать добавила: они нас и сжечь уже грозились, все им не так. Несладко, подумал я, ох, не сладко приходится на этой улице нашим праведницам. Впрочем, оно и понятно: на такой улице, где и самих себя не любят, разве будут любить других. Да и непорядок, потому что собака должна жить на цепи, милиционеры — служить в милиции, а монашки сидеть себе скромно в монастыре, а не сгружать песок где ни попадя. И дом у монашек едва ли не лучший здесь, побогаче даже милицейского, так и просится... Сживут их со света, ох, сживут, подсказывало мне сердце русского человека.

Я думал об этом и когда мы достигли усадьбы графа Шереметьева — вот и этого сжили. От дворца осталась руина, повсюду валялись обломки кирпичей с вензелем Г. Ш. Я ступил в помещение, что было некогда парадной залой, в пролом светило непогожее мартовское небо. Воняло дерьмом. Кричали вороны, мерзли ноги. Из соседнего дома, над которым вился печной дымок, вышел мужик, сразу подступил ко мне, улыба-

ясь добродушно: я как бы здесь смотрю... за дворцом, значит... вон тама еще дворец, там Параша жила... так, значит. Это был добродушный приживал без своего угла, к руинам, конечно, никакого отношения не имевший, а занявший самовольно уцелевшую комнату в полуразваленной бывшей людской. Памятник же, напротив, охранялся государством, о чем извещала табличка на стене. Я дал мужику пятьдесят рублей. Ох, не нужно, не нужно ездить по родной стороне, а сидеть дома: завести Россини, откупорить бутылку коньяка Московский, забраться на диван и укутаться с головой. Но для этого неплохо бы для начала выбраться из этой Ржави, попасть на поезд, усесться в ресторане и сидеть, запивая водку напитком Байкал, пока не покажется за занавеской перрон Белорусского вокзала.

Лара уезжала вместе со мной, хоть монашки и угоривали ее остаться. Она глядела расстроено, нервничала, когда мы ждали на перроне запаздывающий поезд, выпила в вагоне-ресторане водки за компанию, больше, чем обычно, после каждой рюмки приговаривала какая гадость, что была истинная правда, и плескала рукой по воздуху. Ближе к Можайску я заметил, как по правой ее щеке сползает непрозрачная от черной туши одинокая слеза. Думаешь, они их вправду сожгут, спросила она меня, мигая и прикладывая к глазам платок. Я поторопился ее утешить: нет, Лара, они слишком ленивы для этого, да и трусы...

Что ж, я оказался прав, до сих пор монашек никто не сжег. Собаки взрослеют, и у одной из лабрадорш ожидается потомство. Но что будет с ними и с нами в будущем, кто знает. Един Бог.

СОДЕРЖАНИЕ

В ЭТО ВРЕМЯ В ТЮРЬМЕ	3
НЕМНОГО ЛАЗУРИ	19
КЛУБ «ЛУЛУ».....	38
ФЛОРАНС	49
СМЕРТЬ В ПЕРЕДЕЛКИНО	62
ВРЕМЯ СБОРА АБРИКОСОВЫХ КОСТОЧЕК.....	74
ПРОЦЕДУРЫ ДО И ПОСЛЕ.....	84
СОСНОВЫЙ САД.....	94
ЗУБНАЯ ПАСТА	108
ПОХОРОНЫ ДАМЫ	116
ИСТОРИЯ К.	131
ЭЛЬДОРАДО.....	144